

ПУШКИН ✻ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

8



ПУШКИН
СОЧИНЕНИЯ


1799
1999

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1940

ПУШКИН

ТОМ ВОСЬМОЙ

1

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ
ПУТЕШЕСТВИЯ

МОСКВА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1995

ББК 84.5
П 91

НАПЕЧАТАНО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Переиздание Полного собрания сочинений приурочено к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, осуществляется при содействии Комитета РФ по печати, Российской Московской телерадиовещательной компании "Москва", Российского акционерного общества "Газпром" и банка "Огни Москвы".
С благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Пушкин А.С.
П 91 Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 8, кн. 1 / Художник С.Богачев. — М.: Воскресенье, 1995. — 496 с; ил.
ISBN 5—88528—070—3 (Т. 8, кн. 1)
ISBN 5—88528—052—5

В первую книгу восьмого тома собрания сочинений включены романы и повести А.С.Пушкина, а также отрывки, наброски, планы незавершенных и ненаписанных произведений, заметки о путешествиях.

П $\frac{4702010106 — 015}{К 56 (03) — 95}$ подписное

ББК 84.5



В восьмой том входят художественная проза Пушкина и его путевые очерки.

Первый раздел — Романы и повести — в свою очередь распадается на три части. Первую составляют как вполне законченные произведения, так и те, в которых достаточно определился сюжет и характеристика персонажей. Вторая часть этого раздела составляется из мелких незаконченных фрагментов; сюда же введены и те художественные замыслы, которые, не являясь в буквальном смысле слова вариантами или ранними редакциями других повестей, в то же время в значительной степени использованы в позднейших произведениях. Так, основной эпизод „Записок молодого человека" вошел в состав „Станционного смотрителя", отрывок „В начале 1812 года" — в состав „Мятели", фрагмент, названный самим Пушкиным „Отрывок",— в состав „Египетских ночей". В конце раздела напечатаны планы ненаписанных произведений Пушкина. По той именно причине, что произведения эти остались ненаписанными, отнесение этих планов к жанру художественной прозы остается предположительным, так как у нас нет окончательной уверенности в том, что Пушкин на основе этих планов написал бы именно повесть или роман, а не драму или поэму.

Второй раздел — Путешествия — состоит из двух произведений, описывающих поездки Пушкина в Крым в 1820 г. и в Арзрум в 1829 г.

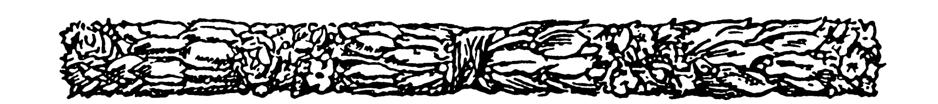
Ввиду значительного объема тома, отдел „Другие редакции и варианты" выделен в особый полутом.

Произведения, напечатанные в настоящем томе, подготовили следующие редакторы:

Арап Петра Великого	*Д. П. Якубович*
Гости съезжались на дачу	*Н. В. Измайлов*
Роман в письмах	*Л. Л. Домгер*
Повести Белкина: От издателя	*Д. П. Якубович*
Выстрел	*Д. П. Якубович*
Мятель	*В. В. Виноградов*
Гробовщик	*Д. П. Якубович*
Станционный смотритель	*В. В. Виноградов*
Барышня-крестьянка	*В. В. Виноградов*
История села Горюхина	*Б. В. Томашевский*
На углу маленькой площади	*Н. В. Измайлов*
Рославлев	*Л. Б. Модзалевский*
Дубровский	*Б. В. Томашевский*
Пиковая Дама	*В. В. Виноградов*
Кирджали	*И. Н. Медведева*

Египетские ночи	*С. М. Бонди*
Капитанская дочка	*Б. В. Томашевский*
Повесть из римской жизни	*Д. П. Якубович*
Марья Шонинг	*Д. П. Якубович*
Надинька	*Л. Л. Домгер*
В начале 1812 года	*С. М. Бонди*
Записки молодого человека	*Л. Б. Модзалевский*
Участь моя решена	*Н. В. Измайлов*
Отрывок	*С. М. Бонди*
Роман на Кавказских водах	*Н. В. Измайлов*
Часто думал я	*Б. В. Томашевский*
Русский Пелам	*Л. Л. Домгер*
В 179 году возвращался я*	*В. В. Виноградов*
Мы проводили вечер на даче	*Н. В. Измайлов*
Карты; продан...	*Б. В. Томашевский*
Влюбленный бес	*Б. В. Томашевский*
Н. избирает себе в наперсники	*Б. В. Томашевский*
Планы повести о стрельце	*Д. П. Якубович*
Криспин приезжает в губернию	*Л. Б. Модзалевский*
Les Deux danseuses	*Л. Л. Домгер*
Отрывок из письма к Д.	*Б. В. Томашевский*
Путешествие в Арзрум	*Ю. Н. Тынянов*

Общий редактор тома — Б. В. Томашевский. Контрольный рецензент — Б. М. Эйхенбаум.



РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

⟨АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО⟩

Железной волею Петра
Преображенная Россия.
Н. Языков.



ГЛАВА I.

Я в Париже;
Я начал жить, а не дышать.
Д<митриев> Журнал путешественника.

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артилерии, отличился в испанской войне, и тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успех<ов> и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здаровии, благодарил за ревность к учению, и крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем, общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состоя-

ния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, Ученость и Философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

10

> Temps fortuné, marqué par la licence,
> Où la folie, agitant son grelot,
> D'un pied léger parcourt toute la France,
> Où nul mortel ne daigne être dévot,
> Où l'on fait tout excepté pénitence.

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar и ловили его на перехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, 20 разговорами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии 30 никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого

негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замечанным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало по малу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову, и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима, графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность, и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда

вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму.....

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались на счет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слёзы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шопот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом..... вдруг он услышал слабый

крик ребенка, и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини—черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку..... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом 10 разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Всё вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим пред- 20 видел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже́ намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II.

<Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум!
Державин.>

Дни, месяцы проходили и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бо́льшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил Регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. „Подумайте о том, что делаете“, сказал ему герцог, „Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения“. Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерение. „Жалею“, сказал ему регент, „но, впрочем, вы правы“. Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Глава 1.

Въ числѣ молодыхъ людей отправленныхъ Петромъ Великимъ въ чужiе края, для приобрѣтенiя свѣдѣнiй необходимыхъ Государству преобразованному, находился его крестникъ арапъ Ибрагимъ. Онъ обучался въ парижскомъ военномъ училищѣ, выпущенъ былъ капитаномъ Артиллерiи, отличился въ Испанской войнѣ, и тяжело раненный возвратился въ Парижъ. Императоръ посреди обширныхъ своихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные отзывы на счетъ его успѣховъ и поведенiя. Петръ былъ чрезвычайно имъ доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россiю но Ибрагимъ не торопился.

„Арап Петра Великого". Беловая рукопись начала повести.
Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, тетрадь № 2378, л. 2.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеятся выжить его из комнаты.— Все трое молчали. „Bonne nuit“, сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. „Bonne nuit, messieurs“, повторила графиня. Он всё не двигался.... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выдти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

„Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

„Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию..... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти.... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты.....

„Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

„Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым

отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства..... Прости, Леонора — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме“.

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, не смотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17<й> день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. „Ба! Ибрагим?“ закричал он, вставая с лавки: „Здорово, крестник!“ Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцаловал в голову. „Я был предуведомлен о твоем приезде“, сказал Петр —„и поехал тебе навстречу.— Жду тебя здесь со вчерашнего дня“. Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. „Вели же,“ продолжал государь, „твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне“. Подали государеву каляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались на скоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева каляска остановилась у дворца т.<ак> н.<азываемого> Царицына Сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской

моде. Петр поцаловал ее в губы, и взяв Ибрагима за руку, сказал: „Узнала-ли ты, Катинька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему“. Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приближились к Петру. „Лиза“, сказал он одной из них, „помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его.“ Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством 10 сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о Регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдох- 20 нуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собралися во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями. 30

Государь вышел часа через два. „Посмотрим,“ сказал он Ибрагиму, „не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною.“ Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов, Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом выходя из токарни сказал Ибрагиму: 40

„Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу“.

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомлен-
10 ную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа, он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальный Париж в объятия милой графини.

ГЛАВА III.

<Как облака на небе
Так мысли в нас меняют легкий образ,
Что любим днесь, то завтра ненавидим.>

<В. Кюхельбекер.>

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякой по своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать, Сему последнему примеру последовали и проччие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавр.<иилом> Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графини D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние.... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние бо́льшого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность

начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слёзы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. „Я сей час только приехал“, сказал Корсаков, — „и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо“. Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. „Как я рад“, продолжал Корсаков, „что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хотя опера?“ Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верьфи. Корсаков засмеялся. „Вижу“, сказал он, „что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся до сыта; еду представляться государю“. С этим слòвом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. „Ты говоришь“, писала она, „что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что не смотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом“. Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим дватцать раз перечел это письмо, с восторгом цалуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине, и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. „Entre nous, сказал он Ибрагиму, государь престранный человек, вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и

совершенно замешался, что отроду со мной не случалось. Однакож государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и вероятно был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста будь моим Ментором, заезжай за мной и представь меня". Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. „Ну, что графиня D.?" — „Графиня? она, разумеется, с начала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-по-малу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или всё это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать".

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу. „Так рано" — сказал он Ибрагиму, увидя его. „Помилуй" — отвечал тот, „уж половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем". Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз 10 перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежие шубы, и они поехали в зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его лыбопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней,

старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шопот: арап, арап, царской арап! Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, 10 которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах, толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались на право и на лево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать 20 новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах, и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках, и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. „Que diable est-ce que tout cela?“ — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. 30 Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали 40 друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен

нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались — и тот час ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь на право, потом на лево, там опять прямо, опять на право и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около полу-часа; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями, одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцовать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством, и казалось не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: „Государь мой, ты провинился во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, имянно должен выпить *кубок большого орла*“. Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. „Ага,“ сказал Петр, увидя Корсакова, „попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться“. Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. — „Послушай, Корсаков,“ сказал ему Петр „штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо

богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился“. Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выдти из кругу, но зашатался и чуть не упал к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с бо̀льшим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибра-
10 гиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцовал с нею менует и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков с начала невнятно лепетал: „Проклятая ассамблея!.... проклятый кубок большого орла!....“ но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

ГЛАВА IV.

Нескоро ели предки наши,
Нескоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего, боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русской барин; по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было 17 лет отроду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженый танцмейстер имел лет 50 отроду, правая нога была у него прострелена под Нарвою, и потому была не весьма способна к менуетам и курантам, за то левая с удивительным искусством и легкостию выделывала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно франц<узской> обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его

примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения.— Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесяти-летний боярин; проччие гости, наблюдая старшинство рода, и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой;— на конце заняли свои привычные места: барская барыня, в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцати-летняя малютка, чопорная и сморщанная, и пленный швед, в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкой строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностию.— Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: „А где же Екимовна? Позвать ее сюда“. Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненая, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна, — сказал к.<нязь> Лыков: — каково поживаешь?

— По добру, по здорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское трепье толковать, конечно, нѐчего: а право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены,

засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязане воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.— По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новёшенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только.— При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.

— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей.— Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся; а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович.— Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды.— Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,— отвечал разгоряченный супруг,— что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко,— сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.— А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву:

того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску.— На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет — уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался! разболтался!... Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: „мусье.... мамзель.... ассамблея.... пардон“.— Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать, ни взять — Корсаков,— сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало по малу восстановилось.— А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немецчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших, да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), арской арап всех более на человека походит.

— Конечно,— заметил Гаврила Афанасьевич,— человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону.... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам: — бегите, отказать ему; да чтоб и. впредь....

— Старая борода, не бредишь ли?— прервала дура Екимовна.— Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громкозвучный голос Петра, всё утихло, и царь вошел, в сопровождении хозяина, оторопелого от радости.— „Здорово, господа“, сказал Петр с веселым

лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. „Ты час от часу хорошеешь“, сказал ей государь, и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом обратясь к гостям,— „Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки“. Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку, и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил 10 гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев деньщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновую костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки 20 разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. „Гаврила Афанасьевич!“ сказал он хозяину: „Мне нужно с тобою поговорить на едине“, и взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шопотом толкуя об этом неожиданном посещении, и опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их 30 тихонько до порогу, и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V.

<Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.
Аблесимов, в опере Мельник.>

Чрез полчаса дверь отворилась и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон к.<нязя> Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней, и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать, в ногах к.<нязя> Лыкова, и начал в полголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец, — сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет, — отвечал зять, нахмурясь. — Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русской дворянин сто̀ит нынешних новичков, блинников да басурманов, — но эта статья особая.

— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь.— Девушка на выданьи, а каков сват, таков и жених,— дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,— крякнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,— сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец,— отвечала старушка,— как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякой рад взять за себя твою Наташу. Долгорукой, что ли?

— Нет, не Долгорукой.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославской?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат, да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: за арапа Ибрагима!

— Батюшка-братец,— сказала старушка слезливым голосом,— не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташиньки в когти черному диаволу.

— Но как же,— возразил Гаврила Афанасьевич,— отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,— воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,— Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого,— сказал Гаврила Афанасьевич,— он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и.....

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,— перервала старушка,— слыхали мы сказку про Бову Королевича да Ер.<услана> Лаз.<аревича>. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: — Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..... Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу. „Что Наташа?“ — спросил он. — Худо, — отвечал огорченный отец, — хуже чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и чорт меня догадал принять в свой дом проклятого волченка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, — и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан видно нет. — Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме всё стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: „Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе не достает?" Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает. „Добро",— сказал государь,—„если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить".

По окончанию работы, Петр спросил Ибрагима: „Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцовал минавет на прошедшей ассамблеи?"— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.—„Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?"— Я, государь?....—„Послушай, Ибрагим, ты человек одинокой, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством".— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность....—„Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом?" При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

„Жениться!"— думал африканец,—„зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только, что я родился под <**> градусом? Мне не льзя надеиться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись на век от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением".

Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги

и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. — „Всё, брат, кончено,“ — сказал Петр, взяв его под руку: „Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы“.

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат кн.<язя> Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI.

Тихо теплилась лампада перед стекляным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками.— У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкой шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь?— произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровате и тихо приподняла полог.— Скоро ли рассветет?— спросила Наталья.—„Теперь уже полдень",— отвечала служанка.— Ах, боже мой, отчего же так темно?—„Окны закрыты, барышня".— Дай же мне поскорее одеваться.—„Нельзя, барышня, дохтур не приказал".— Разве я больна? давно ли?—„Вот уж две недели".— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла....

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка всё стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.— Что такое?— спросила больная.— „Господа откушали",— отвечала служанка; —„встают изо стола. Сей час придет сюда Татьяна Афанасьевна".— Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили в полголоса: *что Наташа?* — Здравствуй, тётушка,— сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.— „Барышня в памяти",— сказала служанка, осторожно придвигая кресла. Старушка со слезами поцаловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. В след за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцаловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостинной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках сидел царской арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженую борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности; и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич,— сказал Корсаков обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению,— сказал Корсаков Ибрагиму.— Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоем месте j'aurais planté là старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé.— — Скажи по совести; ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurée? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста ни‹ка›кого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? На пример: я конечно собою не дурен, но случалось однако ж мне обманывать мужей, которые были, ей богу, ничем не хуже моего. Ты сам.... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? — Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! но ты!..— С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?....— Благодарю за дружеский совет, перервал холодно Ибрагим,— но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать.....— Смотри, Ибрагим,— отвечал смеясь Корсаков,— чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч. — Ты уморишь ее,— говорила старушка.— Она не вынесет его виду.— Но посуди ты сама,— возражал упрямый брат.— Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровьи Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.— Господи боже мой,— сказала Татьяна Афанасьевна,— что с нею,

бедною, будет? по крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению. Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава богу, сказал он Ибрагиму,— опасность миновалась.— Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. 10

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел.— Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила всё, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза .... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли по-тихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. 20

Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. 30

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно 40

справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-тилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она, батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды,— продолжала Наташа,— разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,— сказала карлица, цалуя ее слабую руку.— Если уж и быть тебе за арапом, то всё же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи....

— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,— сказала она, таинственно понизив голос;— кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а, батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа,— я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда,— отвечала карлица.— Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нѐчего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

„Арап Петра Великого". Черновая рукопись конца повести.
Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 251, л. 1 об.

ГЛАВА VII.

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней на право находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верьхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые 2 часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,— сказал молодой посетитель тронутым голосом,— ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть <не> наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э э э,— вскричал он наконец, обнимая его,— сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.



⟨ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...⟩

‹I.›

Гости съезжались на дачу***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую Ит.‹альянскую› оперу. Мало по малу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составился кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей; и смотр парижских литографий заменил общий разговор.

На балконе сидело двое мужин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестию северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. „Как хороша ваша северная ночь, сказал он наконец, и как не жалеть об ее прелести даже под небом моего отечества?“—„Один из наших поэтов, отвечал ему другой, сравнил ее с русской, белобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая италианка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение. Впроччем, давнишний спор между la brune et la blonde еще не решен. Но к стати: знаете ли вы как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту Петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы“.— Испанец улыбнулся. „Итак, благодаря влиянию климата, сказал он, Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности“.—„Красота дело вкуса, отвечал русской, но нéчего говорить об нашей любезности. Она не в моде; никто об ней и не думает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что ж касается до чистоты нравов, то дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам.....“ И разговор принял самое сатирическое направление.

В сие время двери в залу отворились, и Вольская взошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие, чер-

ные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутливой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством; но Вольская ничего не замечала; отвечая криво на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны; лицо ее, изменчивое как облако, изобразило досаду; она села подле важной княгини Г. и, как говорится, *se mit à bouder*.

Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р., ничего не отвечала на его тонкий мадригал и вдруг скользнула на балкон.

Испанец и русской встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу.

Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и в полголоса сказала своему соседу:

— Это ни на что не похоже.

— Она ужасно ветрена,— отвечал он.

— Ветрена? этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить.

— Il n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la compromettre. Между тем, я бьюсь об заклад, что разговор их самый невинный.

— Я в том уверена.... Давно ли вы стали так добродушны?

— Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят.

— Страсти! какое громкое слово! что такое страсти? Не воображаете ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана.... Что это за литография? портрет Гуссейн-паши? покажите мне его.

Гости разъезжались; ни одной дамы не оставалось уже в гостиной. Лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте. Вольская вдруг заметила зорю и поспешно оставила балкон, где она около трех часов сряду находилась наедине с Минским. Хозяйка простилась с нею холодно, а. Минского с намерением не удостоила взгляда. У подъезда несколько гостей ожидали своих экипажей. Минской посадил Вольскую в ее карету. „Кажется, твоя

очередь“, сказал ему молодой офицер.—„Вовсе нет, отвечал он: она занята; я просто ее наперсник или что вам угодно. Но я люблю ее от души — она уморительно смешна“.

Зинаида Вольская лишилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки француженки, нанял учителей всякого рода, и после уж об ней не заботился. 14-ти лет она была прекрасна и писала любовные записки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, полагая, что воспитание ее кончено. Появление Зинаиды наделало большо<го> шуму. Вольский, богатый молодой человек,привыкший подчинять свои чувства мнению других, влюбился в нее без памяти, потому что Г**<осударь> встретив ее на Английской набережной, целый час с нею разговаривал. Он стал свататься. Отец обрадовался случаю сбыть с рук модную невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя весь город. К тому же Вольской ей не был противен, и таким образом участь ее была решена.

Ее искренность, неожиданные проказы, детское легкомыслие производили с начала приятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминутно прерывала важное однообразие аристократического круга. Смеялись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было 14 лет. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имеет никакого чувства приличия, свойственного ее полу. Женщины стали от нее удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида подумала, что она не в проигрыше, и утешилась.

Молва стала приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы — унижает нас в собственном мнении. Вольская, в слезах негодования, решилась возмутиться противу власти несправедливого света. Случай скоро представился.

Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила [Минского]. Повидимому, некоторое сходство в характерах и обстоятельствах жизни должно было их сблизить. В первой молодости Минский порочным своим поведением заслужил также порицание света, который наказал его клеветою. Минский оставил его, при-

творясь равнодушным. Страсти на время заглушили в его сердце угрызения самолюбия; но усмиренный опытами, явился он вновь на сцену общества и принес ему — уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Он не любил света, но не презирал, ибо знал необходимость его одобрения. Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в особенности, и каждого члена его готов был принести в жертву своему злопамятному самолюбию. Вольская нравилась ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные
10 условия. Он подстрекал ее ободрением и советами, сделался ее наперсником и вкоре стал ей необходим.

Б** несколько времени занимал ее воображение. „Он слишком для вас ничтожен", сказал ей Минский. „Весь ум его почерпнут из Liaisons dangereuses, так же как весь его гений выкраден из Жомини. Узнав его короче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения".

„Мне хотелось бы влюбиться в Р.", сказала ему Зинаида.

„Какой вздор!" отвечал он. „Охота вам связываться с человеком,
20 который красит волоса и каждые 5 минут повторяет с упоением: *Quand j'étais à Florence* .... Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое: они созданы друг для друга".

— А барон W.?

— Это девочка в мундире; что в нем — но знаете ли что? влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен; et puis c'est un homme à grands sentiments, он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить, чего вам более?

Однако ж Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее
30 сердце; самолюбие его было тронуто; не полагая чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связи безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию.

<II.>

Минский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его зевая; пожал плечами, развернув два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:

„Не умела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоем присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так живо меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать; это доказывает твое всегдашнее превосходство надо мною — но не довольно для счастия, для спокойствия моего сердца“...

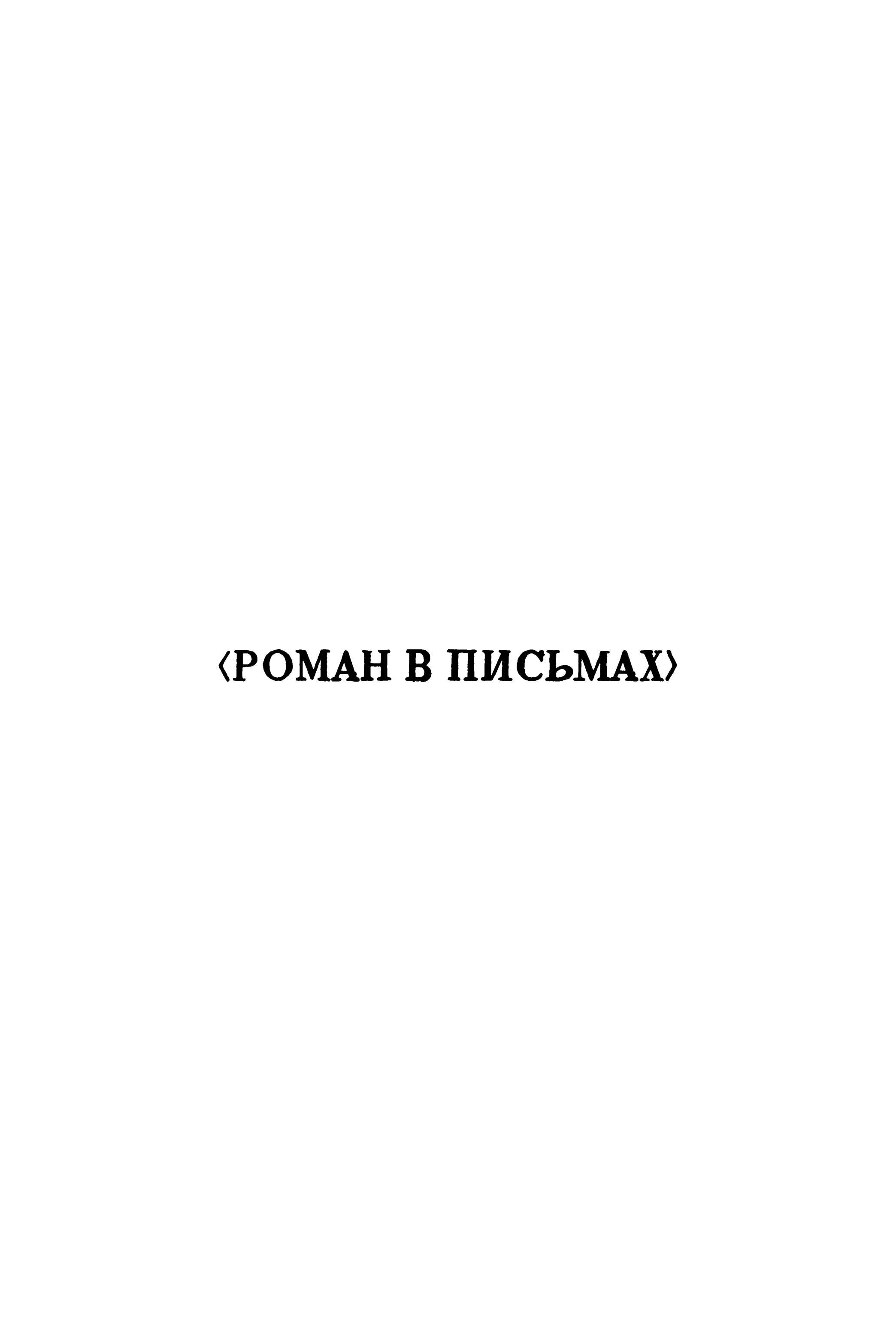
Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.

<III.>

Вы так откровенны и снисходительны, сказ.<ал> Исп.<анец>, что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу — я скитался по всему свету, представлялся во всех Евр.<опейских> дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким как в проклятом вашем Аристокр.<атическом> кругу — Всякой раз когда я вхожу в залу Княгини В.— и вижу эти немые, неподвижные мумии, напоминающие мне Египетские кладбища, какой-то холод меня пронимает. Меж ими нет ни одной моральной Власти, ни одно имя не натвержено мне Славою — перед чем же я робею — Перед недоброжелательством, отв.<ечал> Русский, это черта нашего нрава — В народе выражается она насмешливостию — в высшем кругу невниманием и холодностию. (О мужчинах нечего и говорить). Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, и ничто Евр.<опейское> не занимает их мыслей — Политика и литература для них не существует — Остроумие давно в опале как признак легкомыслия — О чем же станут они говорить? о самих себе? нет — они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, частный, понятный только для немногих — для избранных — И человек

не принадлеж<ащий> к это<му> малому стаду принят как чужой — и не только иностранец но и свой.

Извините мне мои вопросы, ск<азал> Исп<анец> — но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов и я спешу вами пользоваться — Вы упомянули о вашей Арис<тократии>; что такое русск.<ая> Арист<ократия> — Занимаясь Вашими законами — я вижу что наследственной Арист<ократии> основанной на неделимости имений у Вас не существует — Кажется между вашим дворянств<ом> существует гражданское равенство — и доступ к оному ничем не ограничен — На чем же основывается ваша т.<ак> на<зываемая> Ари<стократия> — разве только на одной древности родов — Русск<ий> засмеялся — [Вы ошибаетесь] отвечал он — древнее русское [дворянство,] в следствии причин вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша благо<род>ная чернь, к который и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха — Я скажу на пример, продолжал русс <ий> [с] видом самодовольного небрежения, корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах Ист.<ории> нашей. Но если <бы> я подумал назвать себя Аристокр<атом> то вероятно насмешил бы многих — Но настоящая Аристокр<атия> наша с трудом может назвать и своего деда — Древн<ие> роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики, Певчие, Хохлы — вот их родоначальники — Говорю не в укор: достоинство, всегда достоинство — и Государств<енная> польза требует его возвышения — Смешно только видеть в ничтожных внуках пир<ожников> ден<щиков> певч<их> и дьячков, спесь герцога Monmoren <cy>, первого Христианского Барона, [и] Клермон-Тонн<ера> — Мы так положительны что стоим на коленах пред настоящим случаем, успехом и <....> но очарование древн<остью> благодарность к прошедш<ему> и уважение <к> нравственным дост<оинствам> для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу Историю. Но едва ли мы вслушались — Мы гордимся не славою предк<ов>, но чином какого нибудь дяди, или балами двоюродной сестры — [Заметьте] что неуважение к предкам есть первый признак дикости <и> безнравственности —



⟨РОМАН В ПИСЬМАХ⟩

1. ‹Лиза — Саше.›

Ты конечно, милая Сашинька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне с своею племянницею. Но в ее доме я всё же была воспитанница, а ты не можешь вообразить как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Не уж то предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом я была создание пренесчастное и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальных родственниц, demoiselles de compagnie и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволения ехать, и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дома*, я хозяйка — и ты не поверишь, как<ое> это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутств<ие> роскоши.— Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это осенью и зимо<ю> немного печально, но за то весной и летом должн<о> казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однакож я не вовсе отказалась от суеты мира — вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

2. <Ответ Саши.>

Милая Лиза.

Вообрази мое изумление, когда узнала я про<?> твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и demois<elles> de c<ompag>nie? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты казалось была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь,— и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедал<и> у нас гости, — один из них спрашивал, имею ли о тебе известия. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортеpiano — и я совершенно с ним согласна. Я всё надеюсь, что этот припадок мизантропии будет не продолжителен. Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих

невинных наблюдений, и некому будет передавать эпиграмм моего сердца. Прости, моя милая,— подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. <Лиза — Саше.>

Письмо твое меня чрезвычайно утешило — оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-[то] несчастную любовь — не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений,— а на что ж переписка наша? Пиши ко мне всё что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё косающееся до него для меня занимательно. В доказательство того, прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному <ли> нашему говоруну Алексею Р — ? —Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец [балагур] и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка, стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде на распев и с чувством подчует вареньем. У нее нашла я целый шкап, наполненный старинными романами. Я намерена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я благословясь начала с предисловия переводчика и увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий,— наконец добралась до шестого,— скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клар<иссы>, смерть Ловла<са>, и конец. Каждый т.<ом> заключал в себе 2 части и я не заметила перехода от 6 скучных к 6 занимательным.

Чтение Ричардс.<она> дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего

между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса за исключением церемонн<ых> приседаний, всё же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что [способы] нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкновенному — не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более — ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. <Ответ Саши.>

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанк<е>, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *oho!..* а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный admirateur Владимир**. Довольна ли ты? думаю, очень довольна, и по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону, ** очень занят тобою. На твоем месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выдти за него,— ты жила бы на Агл.<инской> набер<ежной>, по субботам имела бы вечера, и всякое утр<о> заезжала бы за мною.— Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за **.

Третьего дня был бал у К**. Народу было пропасть. Танцовали до 5 часов.— К. В. была одета очень просто; белое крепoвое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир ** не танцовал. Он едет в отпуск.— С. приехали (вероятно первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая кажется была нарумянена — пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцовала *кот<ильон>* с несносным дипло-

матом Ст —, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятье. Прочитать его не надеюсь — с моим нетерпением; я и в В.<альтер> Ск.<отте> нахожу лишние страницы. К стати: кажется роман Елены Н. и гр.<афа> Л. кончается — по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена.— Прости моя прел<есть>, довольна ли ты моею сегоднешней болтовнею?

5. <Лиза — Саше.>

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьб<у>. Откровенно призна́юсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выдти за него. Он аристократ — а я смиренная демократка. Спешу объясниться и заметить гордо как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого милльонщика. Но ты знаешь, что значит наша Аристократия. Как бы то ни было,** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством — и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К. и не имея суббот у себя на Анг.<линской> Наб.<ережной>.

У нас зима: в деревне c'est un événement. Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуля<ния> прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками,— всё делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но всё на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машинькой ***, и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** [их] близкий родня. Машинька не видала его 7 лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето,— и Машинька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашем — видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми конечно стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная.— Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать

в 1829 году роман писанный <в> 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостинной входим мы в старинную залу обитую штофом, садимся в атласные пуховые креслы, видим около себя странные платья, однакож знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства. Происшедствие занимательно, положение хорошо запутано,— но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англ<ичанками>! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим стор<онам>, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В*<яземский> и П*<ушкин> так любят уездных барышен. Они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестн.<ика>** <Европы>, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнрав<ственности> и неблагопр<истойности> сочинения, которые прочли мы все, мы — Санктпетербургские недотроги!..

6. <Лиза — Саше.>

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастия, ** здесь. Что мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе всё... Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения,— ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гуляньи он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

С начала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, каждый час при-

своивая себе новые права, всякой<?> раз<?> говорил мне о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала <я>: к чему всё это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга — думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины***. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перецаловалась. Не замечая никаго, сажусь подле хозяйки, гляжу:** передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть — но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейск<ого> оф<ицера>, беспокойство барышен, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учтив<ая> холодность и совершенное невнимание гостя... После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно не кстати, по делам ли заехал он в нашу сторону „Я приехал по одному делу, от которого зависит счастие моей жизни", отвечал он в полголоса, и тотчас отошел; он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла на верх к Машиньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже чем не здорова. Машинька от меня не отходила. Она в восторге от**. <Он> пробудет у них месяц, или более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него — дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна — мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы — *и к чему?* Он добьется моей любви, моего признания, — потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня — а я..... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. <Ответ Саши.>

То ли дело облегчить сердце полной исповедию! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе было не сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — вы влюблены друг в друга — что за беда? На здоровье. Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастие — берегись накликать его. Почему тебе не выдти за **. Где тут неодержимые препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. Он богат за двух — чего же вам более. Он аристократ; а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно [спор зашел] о дамах высшего круга. Я узнала, что Р объявил однажды себя на стороне аристократии, потому что она лучше обувается. Итак, не явно ль что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня.** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней. Мой совет: обвенчаться как можно скорее в вашей деревянной церкве, и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С**. Поступок твоего рыцаря меня тронул кроме шуток. Конечно в старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на 3 года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за 500 верст от Петербурга, для того чтоб увидеться со владычицею своего сердца — право много значит.** достоин награды.

8. <Владимир ** — своему другу.>

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уж две недели как я живу в деревне и не вижу как время летит. Отдыхаю от Петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру — Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете.— Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревн<ю>.— Звание помещика есть та же служба. Заниматься

управлеиие<м> $3^{х}$ тысяч душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ним<и> прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы [оставляем] их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застает в нужде и в хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в ничтожество: новые подымаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна <фамилия> не знает своих предков. К чему ведет такой политической материализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гр.<ажданину> Ми<нину> и кн.<язю> <Пожарскому>. Какой К.<нязь> П. <ожарский>? Что такое гр<ажданин> Ми<нин>? Был Окольничий кн<язь> Дм.<итрий Михайлович Пожарский> и мещ<анин> Козь<ма> Минич Сухор<укой>, выборный чело<век> от всего Г<осударства>. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не сущ.<ествует>. Жалкой народ!

Аристократия чин<овная> не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминания<ми> народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу англ.<ийского> лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но признаюсь, дай бог им промотаться как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Ф.<он> Визина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!

Это впрочем не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле с тех пор как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен — действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы ***. Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург.— Наше первое свидание было великолепно. Тетка м<оя> была имянинница. Всё соседство съехалось. Явилась и Лиза — и едва поверила самой себе, увидев меня... Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней <мере> я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, „А потому что п<атриотки>“. Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente*, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем имянно состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? Servitor di tutti quanti. Пиши ко мне в село **.

9. <Ответ друга.>

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою, и что вероятно тебя уже нет на свете,— итак пользуйся жизнию, покаместь еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления на счет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело

Un homme sans peur <et sans reproche>
Qui n'est <ni roi, ni duc,> ni comte <aussi>

Состояние помещика, по-моему, самое завидное.

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей.

<. . . . .>[1]

Пустившись в важные рассуждения я совсем забыл, что теперь тебе не до того — ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить

---

[1] *Здесь в рукописи явный пропуск. Повидимому, часть 9-го письма утрачена.*

г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это не достойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на ci-devant гвардии хрипуна 1807 г. Покаместь это недостаток, скоро ты будешь смешнее генерала Г**. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедаю втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине — между прочим и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества cum servo servorum dei. Это было б похоже на тебя. Я всякой день стану тебя ожидать.

10. <Владимир** — своему другу.>

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг — нам было неприлично танцовать, и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменилось.— Французский кадриль заменил Адама Смита, [всякой] волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты ci-devant, un homme стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z — обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее Ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршеской жизни: ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешн<ими> помещиками, играю с старухами в бостон по копейке и сержусь когда проигрываюсь. С Лизою вижусь каждый день — и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении, прелесть высш.<его> петербургского общества, а между тем — что-то живое, снисходительное, доброродное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жесткого в ее суждениях, она не морщится перед впечатлениями, как ребенок перед ревен<ем>. Она слушает и понимает — редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся <я> тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто

сам<ую> тонк<ую> шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграму или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид ими принимаемый так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы есть у меня для развлечения <Машинька***>. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скир<дами>, воспитанные нянюшк<ами> и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый; что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истин<а>, скучна как совер<шенство.>

Не лучше ли:

Скучна (как истина, глупа как совершенство.)

То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.

„Роман в письмах“. Конец 10-го письма.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, тетрадь № 2382, л. 104 об.

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа Простакова.
То, мой батюшка, он еще сызмала
к историям охотник.
Скотинин.
Митрофан по мне.
Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора, и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но к сожалению ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый Государь мой ***!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, Милостивый Государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то поч-

тенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерской полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы, и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел, и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хазяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько впрочем не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петро-

вича; да не льзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом, мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его нáвеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая.* 10

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ.** Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из 20 нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, не смотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как то мозолей, и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения, и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса 30 русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукою автора надписано; слышно мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: *Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., *Выстрел* подполковником И. Л. П., *Гробовщик* приказчиком Б. В., *Мятель* и *Барышня* девицею К. И. Т. 40

Вот, Милостивый Государь мой, всё, что мог я припомнить, касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.
10 Село Ненарадово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия, и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.



ВЫСТРЕЛ



Стрелялись мы.
Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I.

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. 10

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выдти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; за то никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что

случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впроччем нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, 10 ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать посвоему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уровнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения 20 Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал побледнев от злости и с сверкающими глазами сказал: „милостивый государь, извольте выдти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме“.

Мы не сомневались в последствиях, и полагали нового товарища 30 уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного 40 к воротам. Он принял нас пообыкновенному, ни слова не говоря

о вчерашнем происшедствии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: не ужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однакож мало по малу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним попрежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние, откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, на пример, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. „Господа, сказал им Сильвио, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, продолжал он, обратившись ко мне, жду непременно“. С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали изо стола уже поздно вечером. При разборе фуражек, Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выдти. „Мне нужно с вами поговорить", сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

„Может быть, мы никогда больше не увидимся", сказал он мне; „перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление".

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

„Вам было странно", продолжал он, что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его".

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

„Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив".

Любопытство мое сильно было возбуждено. „Вы с ним не дрались?" спросил я. „Обстоятельства, верно, вас разлучили?"

„Я с ним дрался", отвечал Сильвио, „и вот памятник нашего поединка".

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

„Вы знаете“, продолжал Сильвио, „что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б<урцова>, воспетого Д.<енисом> Д<авыдовы>м. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секундаты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и

прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет.— Вам, кажется, теперь не до смерти, сказал я ему, вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать...—«Вы ничуть не мешаете мне, возразил он, 10 извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал.....“

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо, и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в закон- 20 ный брак с молодой и прекрасной девушкой.

„Вы догадываетесь“, сказал Сильвио, „кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!“

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противуположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцаловались. Он сел в тележку, где лежали 30 два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II.

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая

по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить клюшница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащеную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.*

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужства, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресение по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графской кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширый кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели.

---

* *В издании 1831 г. далее следовало*: Наконец решился я ложиться спать как можно ранее, а обедать как можно позже; таким образом укратил я вечер и прибавил долготы дней, и обретох, яко се добро есть.

Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и
10 вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. „Вот хороший выстрел“, сказал я, обращаясь к графу.— „Да, отвечал он, выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?“ продолжал он.—„Изрядно“, отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. „В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов“.—„Право?“ сказала графиня, с видом большой внимательности; „а ты, мой друг,
20 попадешь ли в карту на тридцати шагах?“—„Когда-нибудь, отвечал граф, мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета“.—„О, заметил я, в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был
30 ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки“. Граф и графиня рады были, что я разговорился. „А каково стрелял он?“ спросил меня граф.—„Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет.
40 Он хлоп, и вдавит муху в стену!“—„Это удивительно!“ сказал

граф; „а как его звали?“—„Сильвио, ваше сиятельство“.—„Силь-
вио!“ вскричал граф, вскочив со своего места; „вы знали Сильвио?“—
„Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он
в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет
пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятель-
ство стало быть знали его?“—„Знал, очень знал. Не рассказывал
ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного
очень странного происшедствия?“—„Не пощечина ли, ваше сия-
тельство, полученная им на бале от какого-то повесы?“—„А ска-
зывал он вам имя этого повесы?“—„Нет, ваше сиятельство, не
сказывал... Ах! ваше сиятельство, продолжал я, догадываясь об
истине, извините... я не знал.... уж не вы ли?....“—„Я сам“, отве-
чал граф, с видом чрезвычайно расстроенным, „а простреленная
картина есть памятник последней нашей встречи...“—„Ах, милый
мой“, сказала графиня, „ради бога не рассказывай; мне страшно
будет слушать“.—„Нет“, возразил граф, „я всё расскажу; он знает,
как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отом-
стил“.— Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством
услышал следующий рассказ.

„Пять лет тому назад я женился.— Первый месяц, the honey-
moon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я луч-
шими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верьхом; лошадь у жены
что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла
пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную
телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не
хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему
до меня есть дело. Я вошел в эту комнату, и увидел в темноте
человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у ка-
мина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не
узнал меня, граф?» сказал он дрожащим голосом.— Сильвио! закричал
я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне
дыбом.— «Так точно, продолжал он, выстрел за мною; я приехал
разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал
из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов, и стал там
в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он
медлил — он спросил огня. Подали свечи.— Я запер двери, не велел
никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул писто-
лет и прицелился... Я считал секунды..... я думал о ней... Ужасная
прошла минута! Сильвио опустил руку.— «Жалею, сказал он, что

пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жеребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался.... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер.— «Ты, граф, дьявольски счастлив», сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и каким образом мог он меня к тому принудить..... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил, продолжал граф, и слава богу, дал промах; тогда Сильвио.... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает, и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость.— Милая, сказал я ей, разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища.— Маше всё еще не верилось.— «Скажите, правду ли муж говорит? сказала она, обращаясь к грозному Сильвио; правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня, отвечал ей Сильвио; однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сей час по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить....» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам.— Встань, Маша, стыдно! закричал я в бешенстве; а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять, или нет?—«Не буду, отвечал Сильвио, я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика, и уехал, прежде чем успел я опомниться".

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.



МЯТЕЛЬ



Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокой.

. . . .

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль! 10
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. 20 Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякой день видались на 30 едине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сдела- 40 лась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тро-

иуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников, и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выдти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожи-
10 дать.

Накануне решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась
20 на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непри-
30 творной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцаловали и, по обыкновению, благословили:
40 она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла

и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была мятель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Мятель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял возжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать, и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом, и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая мятель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на

сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались.— Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Мятель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, не смотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, не смотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-по-малу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. „Что те надо?“ — „Далеко ли Жадрино?“ — „Жадрино-то далеко ли?“ — „Да, да! Далеко ли?“ — „Недалече; верст десяток будет“. При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

„А отколе ты?“ продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. „Можешь ли ты, старик“, сказал он, „достать мне лошадей до Жадрина?“ — „Каки у нас лошади“, отвечал мужик. — „Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно“. — „Постой“, сказал старик, опуская ставень, „я те сына вышлю; он те проводит“. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся борода показалась. „Что те надо?“ — „Что ж твой сын?“ — „Сей час выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться“. — „Благодарю, высылай скорее сына“. 10

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною, и пошел вперед то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. „Который час?“ спросил его Владимир. „Да уж скоро рассвенет“ отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. 20

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сей час придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

„Что твоя голова, Маша?“ спросил Гаврила Гаврилович. „Лучше, папенька“, отвечала Маша. — „Ты верно, Маша, вчерась угорела“, сказала Прасковья Петровна. — „Может быть, маменька“, отвечала Маша. 30

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, 40

усатый землемер и маленькой улан были скромны, и не даром Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним, и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой

и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии, и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, не смотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё попрежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарской полковник Бурмин, с Георгием в петлице и *с интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее

оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?..

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. „Она в саду“, отвечала старушка; „подите к ней, а я вас буду здесь ожидать“. Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках, и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

„Я вас люблю", сказал Бурмин, „я вас люблю страстно..." (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже). „Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно..." (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux). „Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду..."—„Она всегда существовала", прервала с живостию Марья Гавриловна, „я никогда не могла быть вашею женою..."—„Знаю", отвечал он ей тихо, „знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!"

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

„Я женат", продолжал Бурмин: „я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!"

„Что вы говорите?" — воскликнула Марья Гавриловна; „как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость".

„В начале 1812 года", сказал Бурмин, „я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная мятель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем мятель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал

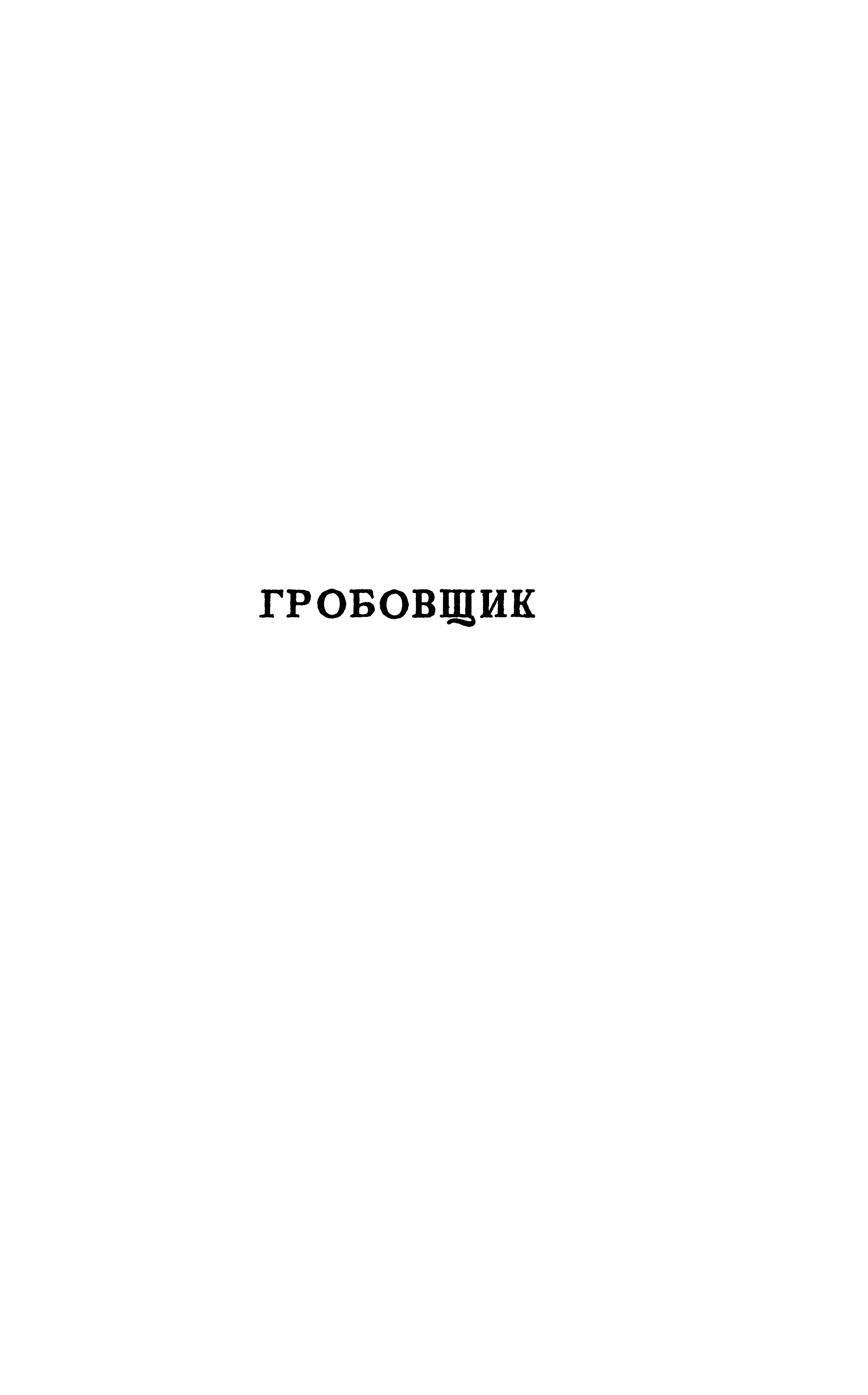
в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек, и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. „Сюда! сюда!" закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. „Помилуй, где ты замешкался?" сказал мне кто-то; „невеста в обмороке;
10 поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее". Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. „Слава богу", сказала эта, „насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили". Старый священник подошел ко мне с вопросом: „Прикажете начинать?" — „Начинайте, начинайте, батюшка", отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали
20 невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. „Поцалуйтесь", сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцаловать... Она вскрикнула: „Ай, не он! не он!" и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: пошел!"

„Боже мой!" закричала Марья Гавриловна: „и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?"

„Не знаю", отвечал Бурмин: „не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я
30 так мало пологал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул, и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена".

„Боже мой, боже мой!" сказала Марья Гавриловна, схватив его руку; „так это были вы! И вы не узнаете меня?"

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...



ГРОБОВЩИК



Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Державин.

Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течении осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность, и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: „здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокат и починяются старые“. Девушки ушли в свою светлицу. Адриян обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриян Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание

разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастие (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. И так Адриян, сидя под окном, и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он
10 предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, не смотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль, и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя фран-масонскими ударами в дверь. „Кто там?“ — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было
20 узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. „Извините, любезный сосед“, сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать не можем, „извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня поприятельски“. Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба
30 Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. „Каково торгует ваша милость?“ спросил Адриян. — „Э хе хе“, отвечал Шульц, „и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет“. — „Сущая правда“, заметил Адриян; „однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб“. Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его
40 дочери вышли из калитки новокупленного дома, и отправились

к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один буточник, чухонец Юрко, умевший приобрести, не смотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую бутку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серинькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком бо̀льшей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриян тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцати-летняя Лотхен, обедая с гостями, всё вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриян ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: „За здоровье моей доброй Луизы!“ Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцаловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. „За здоровье любезных гостей моих!“ провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриян пил с усердием, и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: „За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!“ Предложение, как и все, было принято радостно и

единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: „Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов". Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали изо стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо

10 Казалось в красненьком сафьянном переплете,

под-руки отвели Юрку в его бутку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежем красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. „Что ж это, в самом деле", рассуждал он вслух, „чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаэр святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных".—„ Что ты, батюшка?" сказала работница, которая в это время разувала его; „что ты это
20 городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселие! Экая страсть!"—„Ей-богу, созову", продолжал Адриян, „и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал". С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся на-скоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и рас-
30 хаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окны были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриян подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не

возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком, и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил, и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку, и в нее скрылся. „Что бы это значило?“ подумал Адриян. „Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!“ И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адрияну лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. „Вы пожаловали ко мне“, сказал запыхавшись Адриян: „войдите же, сделайте милость“.—„Не церемонься, батюшка“, отвечал тот глухо: „ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!“ Адрияну и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адрияну показалось, что по комнатам его ходят люди. „Что за дьявольщина!“ подумал он, и спешил войти.... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы.... Адриян с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался, и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. „Видишь ли, Прохоров“, сказал бригадир от имени всей честной компании; „все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя....“ В эту минуту маленькой скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адрияну. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светлозеленого и красного

сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. „Ты не узнал меня, Прохоров“, сказал скелет. „Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?“ С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриян, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь 10 своего товарища, пристали к Адрияну с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриян все вчерашние происшедствия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор, и объявила о последствиях 20 ночных приключений.

„Как ты заспался, батюшка, Адриян Прохорович“, сказала Аксинья, подавая ему халат. „К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить“.

— „А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?“.

„Покойницы? Да разве она умерла?“

— „Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?“

„Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний 30 еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца — воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили“.

— „Ой ли!“, сказал обрадованный гробовщик.

„Вестимо так“, — отвечала работница.

— „Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей“.



СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор
Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение, и может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!... и фельд-егерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования, сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течении двадцати лет сряду, изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас

путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покаместь скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чинов-
10 ника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и платил прогоны за две лошади. В следствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне
20 по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, на пример: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

30 День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. „Эй Дуня!“ закричал смотритель, „поставь самовар, да сходи за сливками“. При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и побежала в сени. Красота ее меня поразила. „Это твоя дочка?“ спросил я смотрителя. — „Дочка-с“ отвечал он с видом довольного самолюбия; „да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать“. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся
40 рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную

обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему на встречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это до ныне сохранилось в моей памяти, также как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцаловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцалуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покаместь собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить
10 бодрого мужчину в хилого старика. „Узнал ли ты меня?“ спросил я его; „мы с тобою старые знакомые“. — „Может статься“, отвечал он угрюмо; „здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало“. — „Здорова ли твоя Дуня?“ продолжал я. Старик нахмурился. „А бог ее знает“, отвечал он.—„Так видно она замужем?“ сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

20 Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

„Так вы знали мою Дуню?“ начал он. „Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее
30 подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельд-егеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать“. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегород-
40 кой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской

шапке, в военной шинеле, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, не возможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе, и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы, и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил что ему нужно одно спокойствие, и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедни. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро на-

градив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... „Чего же ты боишься?“ сказал ей отец; „ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви“. Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и полу-
10 часа, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел, и пошел сам к обедни. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкве не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей
20 станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: „Дуня с той станции отправилась далее с гусаром“.

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, кото-
30 рый приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностию, но он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца, и не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя,
40 казалось, ехала по своей охоте. „Авось“ думал смотритель, „при-

веду я домой заблудшую овечку мою". С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю, и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. „Что, брат, тебе надобно?" спросил он его. Сердце старика закипело, слёзы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: „Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!.." Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. „Ваше высокоблагородие!" продолжал старик, „что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее по напрасну".—„Что сделано, того не воротишь", сказал молодой человек в крайнем замешательстве; „виноват перед тобою, и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы незабудите того, что случилось". Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: „пошел!.." Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дни через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, и поровнявшись с кучером: „Чья, брат, лошадь?“ спросил он, „не Минского ли?“—„Точно так“, отвечал кучер, „а что тебе?„—„Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет“.—
10 „Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее“.—„Нужды нет“, возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, „спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю“. И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд; в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. „Здесь стоит Авдотья Самсоновна?“ спросил он. „Здесь“ отвечала молодая служанка; „за чем тебе ее надобно?“ Смотритель, не отвечая, вошел в залу. „Не льзя, не льзя!“ закричала вслед ему
20 служанка: „у Авдотьи Самсоновны гости“. Но смотритель, не слушая шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате прекрасноубранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он по неволе ею любовался. „Кто там?“ спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня
30 подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать, и вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. „Чего тебе надобно?“ сказал он ему, стиснув зубы; „что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!“ и сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно
40 на свою станцию, и опять принялся за свою должность. „Вот уже

третий год, заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...“

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: „Жив ли старый смотритель?“ никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцаловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. „От чего ж он умер?“ спросил я пивоварову жену.—„Спился, батюшка“, отвечала она.—„А где его похоронили?“—„За околицей, подле покойной хозяйки его“.—„Не льзя ли довести меня до его могилы?“—„Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу“.

При сих словах, оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

„Знал ты покойника?“ спросил я его дорогой.

„Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним:

„Дедушка, дедушка! орешков!"—а он нас орешками и наделяет. Всё бывало с нами возится".

„А проезжие вспоминают ли его?"

„Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу".

„Какая барыня" спросил я с любопытством.

„Прекрасная барыня" отвечал мальчишка; „ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, 10 и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: „Сидите смирно, а я схожу на кладбище". А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: „Я сама дорогу знаю". И дала мне пятак серебром—такая добрая барыня!.."

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.

„Вот могила старого смотрителя", сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным 20 образом.

„И барыня приходила сюда?" спросил я.

„Приходила", отвечал Ванька; „я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!"

И я дал мальчишке пятачок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.



БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА



Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович.

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и не смотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунской Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об

англомании своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: „Да-с!“ говорил он с лукавой усмешкою; „у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты“. Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем про-
10 винциялом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покаместь барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и
20 если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие*
30 *А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но
40 шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их суще-

ственных достоинств, из коих главное, *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж Nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышен. Он первый перед ними явился 10 мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованое дитя. Ее 20 резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки *в этой варварской России*.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. 30

„Позвольте мне сегодня пойти в гости", сказала однажды Настя, одевая барышню.

„Изволь; а куда?"

„В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них имянинница, и вчера приходила звать нас отобедать".

„Вот!" сказала Лиза „господа в ссоре, а слуги друг друга угащают".

„А нам какое дело до господ!" возразила Настя; „к тому же я ваша, а не папинькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело". 40

„Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек".

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. „Ну, Лизавета Григорьевна", сказала она, входя в комнату, „видела молодого Берестова: наглящелась довольно; целый день были вместе".

— „Как это? Расскажи, расскажи по порядку".

„Извольте-с, пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька..."

— „Хорошо, знаю. Ну потом?"

10 „Позвольте-с расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские..."

— „Ну! а Берестов?"

„Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них..."

— „Ах Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!"

„Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы изо стола... а сидели мы часа три и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы изо стола, и пошли в сад

20 играть в горелки, а молодой барин тут и явился".

— „Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?"

„Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку..."

— „Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?"

„Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать".

— „С вами в горелки бегать! Невозможно!"

„Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!"

30 — „Воля твоя, Настя, ты врешь".

„Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился".

— „Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?"

„Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!"

— „Это удивительно! А что в доме про него слышно?"

„Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по

40 мне, это еще не беда: современем остепенится".

— „Как бы мне хотелось его видеть!“ сказала Лиза со вздохом.

„Да что же тут мудреного? Тугилово от нас не далеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону, или поезжайте верьхом; вы верно встретите его. Он же всякой день, рано по утру, ходит с ружьем на охоту“.

— „Да нет, не хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же не льзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!“

„И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает“.

— „А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя милая Настя! Какая славная выдумка!“ И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, на подобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шопотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи,

она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-по-малу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра?
10 И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная лягавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: tout beau, Sbogar, ici... и молодой охотник показался из-за кустарника. „Небось, милая“, сказал он Лизе, „собака моя не кусается“. Лиза успела уже оправиться от испугу, и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. „Да нет, барин“, сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, „боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется“. Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. „Я провожу тебя, если ты
20 боишься“, сказал он ей; „ты мне позволишь идти подле себя?“ — „А кто те мешает?“ отвечала Лиза; „вольному воля, а дорога мирская“. — „Откуда ты?“ — „Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы“ (Лиза несла кузовок на веревочке). „А ты, барин? Тугиловский, что ли?“ — „Так точно“, отвечал Алексей, „я камердинер молодого барина“. Алексею хотелось уровнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. „А лжешь“, сказала она, „не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин“. — „Почему же ты так думаешь?“ — „Да по всему“. — „Однако ж?“ — „Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь
30 иначе, и собаку-то кличешь не по нашему“. Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгой и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. „Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями“, сказала она с важностию, „то не извольте забываться“. — „Кто тебя научил этой премудрости?“ спросил Алексей, расхохотавшись: „Уж не Настинька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!“ Лиза почув-
40 ствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.

„А что думаешь?“ сказала она; „разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако“, продолжала она, „болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...“ Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. „Как тебя зовут, душа моя“. — „Акулиной“, отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой; „да пусти ж, барин; мне и домой пора“. — „Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью кузнецу“. — „Что ты?“ возразила с живостию Лиза, „Ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти“. — „Да я непременно хочу с тобою опять видеться“. — „Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами“. — „Когда же?“ — „Да хоть завтра“. — „Милая Акулина, расцаловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?“ — „Да, да“. — „И ты не обманешь меня?“ — „Не обману“. — „Побожись“. — „Ну вот те святая пятница, приду“.

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленая и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. „Нет ничего здоровее,“ сказал он, „как просыпаться на заре“. Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан, и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы 10 уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повино- 20 ваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. „Дай мне слово,“ сказала она наконец, „что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу“. Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. „Мне не нужно клятвы,“ сказала Лиза, „довольно одного твоего обещания“. После того они дружески разговаривали, гуляя 30 вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, не смотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкой малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения 40 невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшедствие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякой случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верьхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен

был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под устцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог
10 отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верьхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была
20 прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала на встречу Григорью Ивановичу. „Что это значит, папа?“ сказала она с удивлением; „отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?“ — „Вот уж не угадаешь, my dear“, отвечал ей Григорий Иванович, и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. „Что вы говорите!“ сказала она, побледнев. „Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь“. — „Что ты с ума сошла?“ возразил отец; „давно
30 ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...“ — „Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми“. Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее
40 благоразумии? С другой стороны Лизе очень хотелось видеть, ка-

кое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке, и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. „Папа", отвечала Лиза, „я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия". — „Опять какие-нибудь проказы!" сказал смеясь Григорий Иванович. „Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья". С этим словом он поцаловал ее в лоб и Лиза побежала приготовляться. 10

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верьхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец, и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. 20 Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, 30 что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и в следствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленая, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... 40

Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллиянты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему
10 показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белилы были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь
20 искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, на распев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

30 Наконец встали изо стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам: „Что тебе вздумалось дурачить их?“ спросил он Лизу. „А знаешь ли что? Белилы право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется не слишком, а слегка“. Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете, и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела
40 просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон

простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцаловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. „Ты был, барин, вечор у наших господ?“ сказала она тотчас Алексею; „какова показалась тебе барышня?“ Алексей отвечал, что он ее не заметил. „Жаль“, возразила Лиза. — „А почему же?“ спросил Алексей. — „А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...“ — „Что же говорят?“ — „Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?“ — „Какой вздор! она перед тобой урод уродом“. — „Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею ровняться!“ Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышен, и чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. „Однако ж“, сказала она со вздохом, „хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная“. — „И!“ сказал Алексей, „есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте“. — „А взаправду“, сказала Лиза, „не попытаться ли и в самом деле?“ — „Изволь, милая; начнем хоть сейчас“. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. „Что за чудо!“ говорил Алексей. „Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе“. В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам „Наталью боярскую дочь“, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почталиона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его
10 выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкой родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать, и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться
20 короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякой раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякой день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку, и немного помолчав, сказал: „Что же ты, Алеша, давно про воен-
30 ную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!“ — „Нет, батюшка“, отвечал почтительно Алексей, „я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться“. — „Хорошо“ отвечал Иван Петрович, „вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покаместь намерен я тебя женить“.

„На ком это, батюшка?“ спросил изумленный Алексей.

— „На Лизавете Григорьевне Муромской“, отвечал Иван Петрович; „невеста хоть куда; не правда ли?“

40 „Батюшка, я о женитьбе еще не думаю“.

— „Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал".

„Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится".

— „После понравится. Стерпится, слюбится".

„Я не чувствую себя способным сделать ее счастие".

— „Не твое горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!"

„Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь".

— „Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покаместь не смей на глаза мне показаться". 10

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном 20 поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. „Дома ли Григорий Иванович?" спросил он, оста- 30 навливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. „Никак нет", отвечал слуга; „Григорий Иванович с утра изволил выехать". — „Как досадно!" подумал Алексей. „Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?" — „Дома-с". И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею, и пошел без доклада.

„Всё будет решено", думал он, подходя к гостиной; „объяснюсь с нею самою". — Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удер- 40

жаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. „Акулина, Акулина!..“ Лиза старалась от него освободиться... „Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?“ повторяла она, отворачиваясь. „Акулина! друг мой, Акулина!“ повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

„Ага!“ сказал Муромский, „да у вас, кажется, дело совсем уже 10 слажено...“

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

КОНЕЦ ПОВЕСТЯМ
И. П. БЕЛКИНА



ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА



Если бог пошлет мне читателей, то может быть для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десят<ом> году отроду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали и во всем доме кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, не смотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которо<го> батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех и к сожалению никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полу-бога; иногда я даже сомневался в истинне его существовани<я>. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского

заседателя Корючкиия, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера — где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля — я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился <ли> Карл Ив.<анович> на прежнее пепелище или в противном случае отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я 16^{ти}летнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственн<ая> наук<а>, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений кроме производства в офицеры и выигрыш<а> 245 рублей в то время как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 грив. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развяз<ыв>ать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи. — Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высо-

кими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильным<и> цветник<ами>, меж которых шла широкая дорога усыпанная песком, теперь обращен был в некошанный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми ими цалуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали Женщинам говорил я без церемонии: „Как ты постарела" — и мне отвечали с чувством „Как вы-то, батюшка, подурнели". Повели меня на заднее крыльцо, на встречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отростивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед, или ужин — ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим**. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. — Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже,

что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с двор<ов>ыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосягаемо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться
10 с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галлерею 4-го яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в**, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме *Ненависть к людям и раскаяние*. Утром
20 возвращаясь из Главного Штаба заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку, и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью *Благонамеренного*; некто в гороховой шинеле ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок Гамбургской Газеты. Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел.— Двое молодых людей тут же завтракали. „Знаешь ли, кто это был?— сказал
30 один другому:— Это Б., сочинитель“. Сочинитель, воскликнул я невольно,— и оставя журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться, и не дождавшися сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невск.<ому> проспекту — только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают — оглядываюсь, гв.<ардейский> офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуар<а>, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавли-
40 вался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. Отроду моя сол-

датская шинель не была мне столь тягостною — от роду эполеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина места догнал я гороховую шинель. „Позвольте спросить,— сказал я, приставя ко лбу руку,— вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастие читать в Соревнователе Просвещения?“ — Никак нет-с,— отвечал он мне,— я не сочинитель, а стряпчий; но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту.— Таким образом уважение мое к р<усской> литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста — а всё даром.

Не смотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из Отечественной Истории. Не долго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика — и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: *Опасного соседа, Критику на Московский Бульвар, на Пр.<есненские> пруды* и т. под. Не смотря на то поэма моя подвигалась медленно и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Не смотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел зойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. под., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастию, мысли не приходили мне в голову — и в целые 2 дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка, и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.— Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшедствие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-по-малу, образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно, и свободно. Но скоро запас мой истощился и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшедствий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную — но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цыфрам? Я думал об истории меньшего объема, напр. об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. Ист.<ория> уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и представляла мало пищи красноречию.*** был переимянован [в] города в 17** году, и единственное замечательное происшедствие, сохранившееся в его Летописях, есть ужасный пожар, случившийся 10 лет тому назад — и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению.— Ключница моя, в то самое время, как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: „книги! книги!“ —

Книги!— повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете — это было собрание старых календарей.— Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке, всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Бросяя взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронолог<ическом> порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно — ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное.— Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников Истории села Горюхина.— И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые 6 месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду — и с помощию божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го <года>.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина: 1) Собрание старинных календарей. *54 части*. Первые 20 частей исписанно старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Он<а> отлича<е>тся ясностию и краткостию слога: например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 — погода ясная. Пороша. Затравил

3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... — Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны — также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись Горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи [и] к счастию успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания.— Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей (говорят) любовницею приказчика Горб<овицкого>.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) косательно нравственности и состояния крестьян.

Страна по имени столицы своей Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 деся<тин>. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению зайчей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений Карачевских вольных хлебопашцев — соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают <ее> цветущие поля Захарьинские, благоденствующие под властию мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное квакание лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней не далече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла

удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса,— но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большей частию росту середнего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию.— NB. *Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам.— Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околодке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Г<орюхина> издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинав<ам>, а прочие время<на> года переходят в брод, предварительно засучив портки до колен.

Язык Горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русской. Он исполнен сокращениями и усечениями — некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на 13м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течении 4 или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище — дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая — „Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?“ При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2—3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранилися и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды — ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околодке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. под. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшедствиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как чит.<атель> увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев, балалайка и волынка, услаждая чувств.<ительные> сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа-Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших Муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет, (2)
Боярину подает, 10
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА —

СТАРОСТА ТРИФОН. 20

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властию старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали 30 неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сопогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее,

украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течении времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек — и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновал[ся],— а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранн<ого>, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид — а из брички высунулась голова в картузе и казалось с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейск<им> возницею и восклицали смехотворно: „Жид, жид, ешь свиное ухо!..“ *Летопись Гор<юхинского> Дьячка.*) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки.— Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли не подалеку, спящего в переулке под забором — и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманен-

ными — и он не был в состоянии их разобрать. — Незнакомец, с ужасными проклятиями отослал спать старосту Три<фона> и земского Авдея отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленькой чамодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшедствие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело — и Горюхино заснуло, не предвидя, что̀ ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадию. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, — и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Т<рифон> и земской А<вдей> стояли подле него без шапки с видом подобострастия <и> глубокой горести. — „Все ли здесь?“ — спросил незнакомец. — „Все ли-ста здесь?“ — повторил староста. „Все-ста“ — отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB „Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у негоже хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхином“. Я не мог сам <?> отыскать сего любопытного письма).

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги на подобие буквы хера и подбочясь на подобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: „Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте — вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов, небось,

скорее вчерашнего хмеля". Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы — и с ужасом разошлись по домам.

ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА **

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы, она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее — чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж <?> зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию.—2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню — если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной год.<овой> оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужик<ов>. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал <на> негодяя или разоренного.* Мирские сходки были уничтожены.— Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

---

* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы — а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р.— и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес — и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах,— а отвезли в город и отдали в рекр.<уты> Ваньку пьяницу (Донесение Горюх.<инских> муж.<иков>).



⟨НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...⟩

ГЛАВА I.

Votre coeur est l'éponge imbibée
de fiel et de vinaigre.
Correspondance inédite

На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал лежа на козлах, а форейтор играл в снежки с дворовыми мальчишками.

В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностию, лежала бледная дама, уж не молодая, но еще прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет 26, перебирающий листы английского романа.

Бледная дама не спускала с него своих черных и впалых глаз, окруженных болезненной синевою. Начало смеркаться, камин гаснул; молодой человек продолжал свое чтение. Наконец она сказала: Что с тобою сделалось, Валериан? ты сегодня сердит.

— Сердит, — отвечал он, не подымая глаз с своей книги.

— На кого?

— На князя Горецкого. У него сегодня бал, и я не зван.

— А тебе очень хотелось быть на его бале?

— Ни мало. Чорт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то должен звать и меня.

— Который это Горецкой? Не князь ли Яков?

— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина.

— На ком он женат?

— На дочери того певчего... как бишь его?

— Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим [высшим обществом]. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностию жены его, дочери <певчего>?

— И конечно, с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол. — Я человек светской и не хочу быть в пренебрежении у светских Аристократов. Мне дела нет ни до их родословной, ни до их нравственности.

— Кого ты называешь у нас Аристократами?

— Тех, которым протягива<ет> руку графин<я> Фуфлыгин<а>.

— А кто такая гр.<афиня> Фуфлыгина?

— Наглая дура.

— И пренебрежение людей, которых ты презираешь, может до такой степени тебя расстр<оивать>! сказала дама, после некоторого молчания. Признайся, тут есть и иная причина.

— Так: опять подозрения! опять ревность! Это, ей-богу, несносно.

С этим словом он встал и взял шляпу.

— Ты уж едешь, сказала дама с беспокойством. Ты не хочешь здесь отобедать?

— Нет, я дал слово.

— Обедай со мною, продолжала она ласковым и робким голосом. Я велел<а> взять шампанского.

— Это зачем? разве я московский банкомет? разве я без шампанского обойтиться не могу?

— Но в последний раз ты нашел, что вино у меня дурно, ты сердился, что женщины в этом не знают толку. На тебя не угодишь.

— Не прошу и угождать.

Она не отвечала ничего. Молодой человек тотчас раскаялся в грубости сих последних слов. Он к ней подошел, взял ее за руку и сказал с нежностию: Зинаида, прости меня: я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за всё. В эти минуты надобно мне сидеть дома... Прости меня; не сердись.

— Я не сержусь, Валериан: но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне как по обязанности, не по сердечному внушению. Тебе скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мною побраниться и уехать.... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле, но я.....

Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначущих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окошку; смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. — Наконец она сказала в слух: нет, он меня не любит, позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик.

<ГЛАВА II.>

Vous écrivez vos lettres de 4 pages plus vite que je ne puis les lire.

** скоро удостоверился в неверности своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. Он не знал на что решиться: притвориться ничего не примечающим, казалось ему глупым; смеяться над несчастием столь обыкновенн<ым> — презрительн<ым>; сердиться не на шутку — слишком шумным; жаловаться с видом глубоко оскорбленного чувства — слишком смешным. К счастию жена его явилась ему на помощь.

Полюбив Волод<ского>, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное однем женщинам и понятное только им. — Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собой дверь и объявила, что она любит Вол<одского>, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить — и что она решилась развестись. ** [был] встревожен таким чистосердечием <и> стремительностию. Она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с А.<нглийской> наб.<ережной> в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем В** <олодского>, [не] ожидавшего ничего тому подобного...

Он был в отчаянии. Никогда не думал он связать себя такими узами. Он не любил скуки, боялся всяк<их> обязанностей, и выше всего ценил свою себялюбивую независимость. Но всё было кончено. Зинаида оставалась на его руках. Он притворился благодарным и приготовился на хлопоты любовной связи, как на занятие должностное или как на скучную обязанность поверять ежемесячные счеты своего дворецкого...



РОСЛАВЛЕВ

Читая „Рославлева“, с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшедствии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшедствие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени, — и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги. 10

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что̀ должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антрсоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет, и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцати-двух-летний малый, принадлежал сословию 20 тогдашних франтов; он считался в Иностранной Коллегии, и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженый человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была 30 напротив женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали, — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частию состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Кребильйона, была ей знакома. 10 Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и вероятно ничего по-русски не читала, не исключая и стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами. —

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB: Автору „Юрия Милославского“ грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его и, кажется, одной из нас обязан 20 он и переводом своего романа на французской язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только „Историю Карамзина“; первые два или три романа появились два или три года назад: между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то воля ваша, я всё таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши 30 занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны 40 даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной

путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — M[de] de Staël. Она приехала летом, когда большая часть Московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее, и были по большей части не довольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший M[de] de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших Московских умников. 10 Тут увидела я сочинительницу Корины. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою M[de] de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при Европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и M[de] de Staël. Ждали от нее поми- 20 нутно bon-mot; наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шопот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали изо стола, совершенно примеренные с M[de] de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

„Что̀ с тобою сделалось, ma chère?“, — спросила я Полину, — „неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?“ — Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой 30 необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течении трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленной! Она увидела, чего им было надобно, что̀ могли понять эти обезьяны просвещения и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова̀ была заплакать..... Но пускай, — 40

с жаром продолжала Полина, — пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ, и понимает его. Ты слышала, что̀ сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“. Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!

Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные
10 глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой M^de de Staël. Не знаю, что̀ подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге, и с нею разговорилась. Чрез несколько дней M^de de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de M^de votre mère et veuillez lui prèsenter les respects de votre amie *de S*.

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с M^de de Staël, не смотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной
20 как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. „Может быть, — заметили мне, — „M^de de Staël была не что иное как шпион Наполеонов, а княжна** доставляла ей нужные сведения“. — Помилуйте, — сказала я, — M^de de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая M^de de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, M^de de Staël, друг Шатобриана и Байрона, M^de de Staël будет шпионом у Наполеона!... „Очень, очень может статься,“ — возразила востроносая графиня Б. — „Наполеон был
30 такая бестия, а M^de de Staël претонкая штука!“ —

Все говорили о близкой войне и сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педанством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнец-

кого моста и том.<у> подоб.<ным>. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французской табак и стал нюхать русской; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаились говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине, и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. Дай бог, говорила она, чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю. Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. Помилуй, сказала я однажды, охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта.— Глаза ее засверкали. Стыдись, сказала она, разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, что б нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное, или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на Mde de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой.... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении французской армии! „Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не

противу вас...“Да! еслиб дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но Mde de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Корде? а наша Марфа Посадница? а княгиня Д**<ашкова>? чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию“.— Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes.**

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. Вы чем пожертвуете, спросила она раз у моего брата. Я не владею еще моим имением, отвечал мой повеса. У меня всего на все 30.000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества. Полина рассердилась. Для некоторых людей, сказала она и честь и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви. Брат мой вспыхнул. Вы слишком взыскательны, княжна, возразил он. Вы требуете, чтобы все видели в вас Mde de Staël и говорили бы вам тирады из Корины. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей. С этим словом он отвернулся. Я думала, что они на всегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку, за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновской полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.

---

* Кажется, слова Шатобриана. *Примеч. Изд.*

Мы приехали в**, огромное село в 20 верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы. Всякой день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его.— Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, Растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. 10
Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полиц.<ейские> объявления гр.<афа> Ростопчина выводили ее из терпения.— Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры им принимаемые варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объ- 20
явила о своем намерении уйти из деревни, явиться в фр.<анцузский> лагерь, [добраться до Наполеона] и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия — но мысль о Шарлоте Корде долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по московскому. Давал обеды, завел théâtre de Société, где разыгрывал французские proverbes, и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Кн.<язь> обрадовался новым лицам и выпросил у губер- 30
натора позволение поместить их у себя...

Их было четверо — трое довольно незначущие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но <четвертый> был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения 40

войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. Но вы, спросила его Полина, разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора — Синекур (назову же и его именем, данным ему г-м Загос<киным>). Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Синекур признался, что устремление фр.<анцузских> войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. Кончен! возразила Полина, а Наполеон всё еще идет вперед <?> а мы всё еще отступаем! Тем хуже для нас, отвечал Синекур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку не возможно было добиться. Они были наполненные шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошл.<ыми> уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. Признайся, говорила она, что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего незначущие письма, какова же будет мне его беседа в течении тихой семейственной жизни? Она ошиблась. Пустота брат<ниных> писем происходила не от его собств.<енного> ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не косаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякой имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала <ее> в слезах. Это меня не удивляло,

я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что̀ было еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Синекур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества, и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я смеясь дала ему заметить, что положение его самое романическое.— В плену у неприятеля раненый Рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце, и наконец получает ее руку.— Нет, сказал мне Синекур, княжна видит во мне врага России, и никогда не согласится оставить свое отечество. В эту минуту Полина показалась в конце алле<и>, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

Москва взята, сказала <она> мне, не отвечая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза.— Благородные, просвещенные фра<нцузы>, продолжала она голосом, дрожащим от негодования, ознаменовали свое торжество достойным образом.— Они зажгли Москву — Москва горит уже 2 дни.— Что вы говорите, закричал Синекур, не может быть. — Дождитесь ночи, отвечала она сухо, может быть, увидите зарево. — Боже мой! Он погиб, сказал Синекур; как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французск.<ому> войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь, всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором.—

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться.— Неужели,— сказала она,— Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если так.... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу.

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга, и жаркие моления за отечество. Ты не знаешь? сказала мне Полина с видом вдохновен-

н<ым>.— Твой брат.... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России.

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.—



‹ДУБРОВСКИЙ›

ТОМ ПЕРВЫЙ.

ГЛАВА I.

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. 10
Никто не дерзал отказываться от его приглашения, или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Не смотря на необыкновенную силу физических способностей, [он] раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. [В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих 20
ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы, в положеные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них за муж и новые поступали на их место.] С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; [не смотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на его сильное покровительство.]

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах, и в проказах, 30
ежедневно при том изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели

не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми са̀мого высшего звания, уважал Дубровского, не смотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучил⟨и⟩ их надолго.[1] Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей 10 деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместие, они свидились и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишка своего старого товарища. [Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях.] В некоторых отношениях [и] судьба их была одинакова: оба женились по любви, 20 оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. — Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: „Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол“. Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: „Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки“.

Все завидовали согласию, царствующему между надменным 30 Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выдти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.

---

[1] *В рукописи первоначально:* Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору.

ГЛАВА I

Раз в начале осени, Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пяти сот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением, и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осмотривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми канурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые — то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борз<ых>; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. „Что же ты хмуришься, брат“, спросил его Кирила Петрович, „или псарня моя тебе не нравится?“ „Нет“, отвечал он сурово, „псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам“. Один из псарей обиделся. „Мы на свое житье“, сказал он, „благодаря бога и барина, не жалуемся — а что правда — то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю канурку. — Ему было б и сытнее и теплее“. Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости во след за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел, и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят — он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со пс<арного> двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только не видя Дубровского хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. От роду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого цени-

теля псовых достоинств и безошибочного решителя все<воз>можных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что дескать Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович, встал изо стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух — и услышал следующее:

Государь мой примилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю—потому что я не шут, а старинный дворянин.— За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

По нынешним понятиям об этикете письмо сие был<о> бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью: „Как", загремел Троекуров, вскочив с постели босой, „высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать!—да что он в самом деле задумал; да знает ли он с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!"

Кирила Петрович оделся, и выехал на охоту, с обыкновенной своею пышностию,— но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней <мере> был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское — Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые благодаря усердию

тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора, и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на Покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом— и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшестви<и> в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее до-тла, и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку—маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинеле вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина, и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном, и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут,— сказал ему Троекуров,— зачем пожаловал?

— Я ехал в город, в<аше> пр<евосходительство>,—отвечал Шабашкин—и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от в<ашего> пр<евосходительства>.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки, да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя.— Он отказался от водки [и] стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть,—сказал Троекуров,—мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение—как ты про то думаешь?

— В<аше> пр<евосходительство>, коли есть какие-нибудь документы, или...

— Врешь братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына, и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться.

— Мудрено, в<аше> в<ысокопревосходительство>, вероятно сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, в<аше> пр<евосходительство> могли как<им> ни есть образом достать от в<ашего> соседа запись или куп<чую>, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда—у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, в<аше> пр<евосходительство>, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше?—в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству, ровно через две недели, Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во 1) что Дубровский мало знает толку в делах, во 2) что человека столь горячего и неосмотрительного не трудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно [запросы] заседа-

теля, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела—Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкрив и впрям всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февр<аля> 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судьи для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, пор<учиком> Дубровским, и <генерал-аншефом> Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II.

Приехав в город Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открыт<ых> дверях,—Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке—настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гв.<ардии> пор.<учиком> Ан<дреем> Гавр.<иловым> с<ыном> Дубр<овским> имением, принадлежащим генерал-анш<ефу> <Кирилу Петрову сыну> Троек<урову>, состоящим <**губернии в сельце Кистеневке>, мужеска <пола**> душами, да земли с лугами и угодьями <**> десятин. Из коего дела видно: означенный

ген.<ерал>-ан.<шеф> <Троекуров> прошлого 18<...> года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец [коллежский асессор] и кавалер Петр Еф.<имов> сын <Троекуров> в 17<...>м году августа 14 дня, служивший в то время в <**> наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее<**> округи в помянутом сельце Кист<еневке> (которое селение тогда по <**> ревизии называлось <Кистеневскими> выселками), всего значущихся по 4-й ревизии мужеска пола <**> душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой <Кистеневке>, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2 500 р., на что и купчая в тот же день в <**> палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день <**> земским судом введен был во владение и учинен за него отказ.—А наконец 17<...> года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он проситель <генерал-аншеф Троекуров> с 17<...> года почти с малолетства находился в военной службе и по большой части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения, как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие <**> и <**> губерниях <**>, <**> и <**> уездах, в разных селениях, всего до 3 000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными <**> душами (коих по нынешней <**> ревизии значится в том сельце всего <**> душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный <гвардии> поруч<ик> Ан<дрей> Д<убровский>, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчию, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения <Дубровского>, отдать по принадлежности в полное его, Троек<урова>, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, <Дубровского>, следующее по законам взыскание и оным его, <Троекурова>, удовлетворить.

По учинении ж <**> земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения <гвардии поручик Дубровский> дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце <Кистеневке>, <**> душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика <Гаврила Евграфова сына Дубровского>, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова,

по доверенности, данной от него в 17<...> году августа 30 дня, засвидетельствованной в <**> уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сына Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Тр<оекуров>, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, <**> душ с землею, продал отцу его, <Дубровского>, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного дове-р<енного> Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу <Троекурову>, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу,—ему, <Андрею Дубровскому>, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17<...> году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи <Троекуровым> или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17<...> года, а по смерти отца его с 17<...> года и поныне, они, <Дубровские>, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей—которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые г.г. <Дубровские> назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно.— Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Трое<куров>, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же г.г. <Дубровских> назад сему лет 30-ть от случившегося в их селении в ночное время <пожара> сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего <генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров> 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый <гвардии поручик Андрей Дубровский> и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом <Гаврилом Дубровским> титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия... дня, совершенно уничтожается.— А сверх сего—

велено спорные имения отдавать во владения—крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого <Дубровского> отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе <..... взыскать> с помещика <Дубровского> и его, <Троекурова>, оными удовлетворить.—По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в <**> уездном суде ОПРЕДЕЛЕНО:

Как из дела сего видно, что <генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров> на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у <гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце <Кистеневке>, по нынешней <...> ревизии всего мужеска пола <**> душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчию на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17<...> году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, <Троекуров>, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году <**> земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны <гвардии поручика Андрея Дубровского> и представлена <доверенность>, данная тем умершим покупщиком <Троекуровым> титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, <Дубровского>, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу <.....> воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается.— Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение <купчая>, со стороны <Дубровского> никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18<...> года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, <**> душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за <генерал-аншефа Троекурова>; о удалении от распоряжения оным <гвардии поручика Дубровского> и о надлежащем вводе во владение за него, г. <Троекурова>, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать <**> земскому суду.—А хотя сверх сего <генерал-аншеф Троекуров> и просит о взыскании с <гвардии поручика Дубровского> за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов.—Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у г.г. <Дубровских> несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. <Троекурова> были какие-либо до сего времени прошении

о таковом неправильном владении <Дубровскими> оного имения, к тому по уложению

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением,

а посему <генерал-аншефу Троекурову> в изъявленном на <гвардии поручика Дубровского> иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставя между тем <генерал-аншефу Троекурову>, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательствы, может просить где следует особо.— Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда—.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положеное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. „Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!“ Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: „Слыхано дело, в<аше> пре<восходительство>,—продолжал он,—псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу...“ Сторожа сбежались на шум, и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день

отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, посчастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III.

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо; правда припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты, и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей, и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не <в> состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардей<ских> пех<отных> полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания и молодой человек получал из дому более нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем, и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

Государь ты наш, Владимир Андреевич,—я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровьи папенькином! Он очень плох,

иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое— а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову—потому что мы-дскать ихние, а мы искони Ваши,—и отроду того не слыхивали.—Ты бы мог живя в Петербурге доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду.—Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое матер<инское> благосл<овение> Грише, хорошо ли он тебе служит?—У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня.

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на $8^{м}$ году своего возраста—со всем тем он романически был к нему привязан, и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письм<а> своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получа<л> он от отца писем <?> и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выдти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске—закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске <и> [через 3 дня был уж на большой дороге.]

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился

куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне, и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до̀ земи, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами — и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца <мо>его с Троекуровым?

— А бог их ведает, бат<юшка> Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд— хотя по часту̀ он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так видно этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин—заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей— Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе— а все мы божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави— у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет.—Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем.—При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал— и предался сно<ва> размышлениям. Прошло более часа—вдруг Гриша пробудил его восклицанием: *Вот Покровское!* Дубровский

поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извива<лась> между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места—он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилось; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 12 лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошаный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу, и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника.—Здорово, здорово, няня,—повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху,—что батюшка, где он? каков он?

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колп<ак>е.

— Здравствуй, Володька!—сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели,—говорила ему Егоровна,—на ногах не стоишь, а туда же норови<шь>, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне — и просил оставить его наедине с от<цом>. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише, и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

ГЛАВА IV.

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения—у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное—из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе, и решился ожидать последствий, надеясь на правоту сáмого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положеный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его в<ысокопревосходительству> вступить во владение новоприобретенным имением—самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости—и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито:—Пошел вон, не до тебя.

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: *Гром победы раздавайся*, что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

„Дубровский“ Глава V.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2380А, л. 47 об.

ГЛАВА IV

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и проти<ву>положные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа — и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его — багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйств<енными> книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся — — и вдруг упал.— Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания — паралич его ударил.— Скорей, скорей в город за лекарем!— кричал Владимир.—Кирила Петрович спрашивает вас,— сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора — пошел. — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками.— Батюшка ты наш,— сказала она пискливым голосом,— погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас.— Молчи, няня,— сказал с сердцем Владимир,— сейчас пошли Антона в город за лекарем.— Егоровна вышла.

В передней никого не было — все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо — и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшедствии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:— Не надобно лекаря, батюшка скончался.

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь — не было

уж и признака жизни в сем теле еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла — слуги окружили труп, оставленный на их попечение, — вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым только лет они служили своему господину.

ГЛАВА V.

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи, увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Мол<одой> Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился — но лицо его было страшно. Печальн<ый> обряд кончил<ся>. Владимир первый пошел прощаться с телом — за ним и все дворовые — принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредко утирали слезы кулаком. Владимир и тех же 3 слуг понесли его на кладбище — в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу — все присутствующие бросили в нее по горсти песку — яму засыпали, поклонились ей, и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил, и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед — объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать — и таким образом отец Антон <?>, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, повидимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием ему оказанный были уже известны всему околодку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет — то будет,— сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином,— прервала Егоровна.— Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал — мой соколик и сам за себя постоит — да и, бог даст, благодетели его не остав<я>т. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес! — долой со двора!

— Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то язык повернулся, я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и краплет пот <?>, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

— Суета сует, — сказал священник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да гостей созовут побольше — а богу не всё ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно,—есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас уподчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пир<ог> ускорили шаги собеседников и они благополучно прибыли в барской дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между <тем> Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте,— он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки — в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев — и живо представляющего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало

смеркаться — он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливо<м> предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо,— говорил поп попадье,— нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. — Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь увидел он множество народа — крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит, — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие, и что им надобно? — Ах, батюшка Владимир Андреевич,— отвечал старик, задыхаясь.—Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина.— Отец ты наш, — кричали они, цалуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим. — Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали <его>.— Стойте смирно,— сказал он им, — а я с приказными переговорю. — Переговори, батюшка, — закричали ему из толпы, — да усовести окаянных.

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя.— — Исправник, высокой и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул, и произнес охриплым голосом:— Итак, я вам повторяю то, <что> уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин.— Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник.— При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовал<и>. Владимир кипел от негодования.— Позвольте узнать, что это значит,— спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. — А это то значит, — отвечал замысловатый чи-

новник,— что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться по-добру поздорову.— Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам — и объявить помещику отрешение от власти...— А ты кто такой, — сказал Шабашкин с дерзким взором.— Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре,— мы вас не знаем, да и знать не хотим.

— Владимир Андреевич наш молодой барин,— сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть,— сказал грозно исправник,— какой барин, какой Владимир Андреевич,— барин ваш Кирила Петрович Троекуров — слышите ли, олухи.

— Как не так,— сказал тот же голос.

— Да это бунт!— кричал исправник.— Гей, староста сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толп<е>, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать.— Да что на него смотреть, – закричали дворовые,— ребята! долой их! — и вся <?> толпа двинулась. — Шабашкин и др.<угие> члены поспешно бросились в сени — и заперли за собою дверь.

— Ребята, вязать<?>,— закричал тот же голос,— и толпа стала напирать...— Стойте, — крикнул Дубровский.— Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня.— Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, госуд<арь> милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать.

Речь мол<одого> Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся — двор опустел. Члены сидели в сенях <?>. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.— Мы решили,— продолжал засед<атель>,— с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся во-свояси.

— Делайте, что хотите,— отвечал им сухо Дубровский,— я здесь уже не хозяин.— С этим словом он удалился в комнату отца своего, и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI.

„Итак, всё кончено,— сказал он сам себе;— еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты“. И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы, в белом утреннем платьи с алой <?> розою в волосах. „И портрет этот достанется врагу моего семейства,— подумал Владимир,— он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями, или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей — а в ее спальней, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик, или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня“. Владимир стиснул зубы — страшные мысли рождались в уме его. Голоса подъячих доходили до него — они хозяйничали, требовали то того, то другого, и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены.* С сильным движением чувства, Владимир принялся за них: они писаны были во время Т<урецкого> похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйстве<нные> занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги, в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство на счет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался, и позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненые, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю — двери были заперты — не нашед ключа, Владимир возвратился в залу,— ключ лежал на столе,

Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол — топор блестел у него, и обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца.— Зачем ты здесь? — спросил он.— Ах, Владимир Андреевич, это вы,— отвечал Архип пошепту,— господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою! — Владимир глядел на него с изумлением.— Что ты здесь притаился?— спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, всё ли дома,— тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор? 10

— Топор-то зачем?— Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело — подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эк они храпят, окаянные — всех бы разом; так и концы в воду.

Дубровский нахмурился.— Послушай, Архип,— сказал он, немного помолчав,— не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ко фонарь ты, ступай за мною. 20

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.— Кто, сторожа? — спросил Дубровский.— Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос,— Василиса да Лукерья.— Подите по дворам,— сказал им Дубровский,— вас не нужно.— Шабаш,— промолвил Архип.— Спасибо, кормилец, — отвечали бабы — и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши.— Зачем вы не спите? — спросил он их.— До сна ли нам,— отвечал Антон.— До чего мы дожили, кто бы подумал... 30

— Тише!— перервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме в своей светелке,— отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось — кроме приказных — а ты, Антон, запряги телегу. — Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных никто в доме не смыкал глаза. 40

— Все ли здесь? — спросил Дубровский,— не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы,— сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо.— Вот так. Ну ребята, огню! —

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, в торопях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: *как не так, отопри*! и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось — и осветило весь двор.

— Ахти,— жалобно закричала Егоровна,— Владимир Андреевич, что ты делаешь!

— Молчи,— сказал Дубровский.— Ну дети, прощайте, иду, куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец,— отвечали люди, — умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им мест<ом> свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стеклы трещали, сыпались, пылающие бревны стали падать, раздался жалобный вопль и крики: „горим, помогите, помогите“.— *Как не так*,— сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.— Архипушка,— говорила ему Егоровна,— спаси их, окаянных, бог тебя наградит.

— Как не так,— отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной мятелью, избы загорелись.

— Теперь всё ладно,— сказал Архип,— каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.— В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть — со всех сторон окружало ее

пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. — Чему смеетеся, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь — божия тварь погибает, а вы с дуру радуетесь — и поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. — Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворне, — мне здесь делать нéчего. Счастливо, не поминайте меня лихом.

Кузнец ушел, пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

ГЛАВА VII.

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с з<емским> судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине, и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и вероятно главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшедствию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В <**> появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Мéры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее,

следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии — останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному — поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая; не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый <день> ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командир<ов>, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшедствий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII.

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла

в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры <и> увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная <библиотека>, составленная большею частию из сочинений ф.<ранцузских> писате<лей> 18 века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме *Совершенной Поварихи*, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка, и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем — в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9-ти, напоминающий полуденные черты Mlle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, не смотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшедствий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностию и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-фр.<анцузски> не говорил и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что так и быть — принимаю его; только с тем, чтоб он <у> меня за моими

девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-фр.<анцузски>, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился, и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо,— сказал Кирила Петрович,— не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на M^{r} <Дефоржа>, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредко выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покаместь не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей, и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только проти-

вуположный угол мог <быть> безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с <собою> темными корридорами — вдруг боковая дверь отворилась — двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побежал, и ждал нападения. Медв<едь> приблизился, Дефорж вынул из кармана маленькой пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу — кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе,— отвечал Дефорж,— но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением, и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом обратясь к своим людям сказал:— Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил. С той минуты он Дефоржа полюбил, и не думал уже его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию — и с тех

пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

ТОМ ВТОРОЙ.

ГЛАВА IX.

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкве, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкве, и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась — ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею — и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни на право, ни на лево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего.*

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица, и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и брилиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставля<я> бутылки и графины, и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: кушание поставлено, — и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое

старшинство, барышни стеснились между собою как робкое стадо козочек и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь Лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу, и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми.— Это кто?—спросил хозяин.—Антон
10 Пафнутьич,— отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет 50, с круглым и рябым лицом украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую кланяясь, улыбаясь, и уже собираясь извиниться...— Прибор сюда,— закричал Кирила Петрович,— милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь.— Виноват,— отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана,— виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъ-
20 ехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастию не далеко было от деревни — пока до нее дотащились, да отыскали кузнёца, да всё кое-как уладили, прошли ровно 3 часа — делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневской лес я не осмелился, а пустился в объезд...

— Эге! — прервал Кирила Петрович,— да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься. — Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня пожалуй и две шкуры сдерет. — За что же, братец, такое отличие?—
30 Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. — Всего-на-все разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся. — А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай красная шкатулочка полным полна... — Куда, батюшка Кирила Петрович. Была
40 полна, а нынче совсем опустела! — Полно врать, Антон Пафнутьич·

Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, — а мы ей-богу, разорились, — и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему, и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, госп.<один> исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец: — Постараемся, ваш<е> превосх<одительство>.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников — разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, г<осподин> исправник?

— Сущая правда, в<аше> пре<восходительство>, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича — кабы не сожгли его, так в околодке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамской голос, — в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать хоть бы и хотела; однако, сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. — Что такое? что с тобою сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна — Разбойники ограбили; самого чуть не убили — сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжа-

лился, и отпустил — за то всего обобрал — отнял и лошадь и телегу. Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнев<а>, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича: он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. — Это странно, — сказал он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет, нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика. — Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. „Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил, и как он хотел тебя повесить". Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. — Батюшка, виноват — грех попутал — солгал. — „Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю". Приказчик не мог опомниться. „Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?" — У двух сосен, батюшка, у двух сосен. — „Что же сказал он тебе?" — Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем? — „Ну, а после?" — А после потребовал он письмо и деньги. — „Ну". — Я отдал ему письмо и деньги. — „А он? — — Ну — а он?" — Батюшка, виноват. — „Ну, что ж он сделал?" — Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с богом — отдай это на почту. — „Ну, а [ты]?" — Батюшка, виноват. — „Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника, и отдайте мне его на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища". Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал, и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

ГЛАВА IX

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического — особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная тайнственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком, не знаю почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренькой мальчик — но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши, и что следственно ему не 35 лет, а около 23.

— Точно так, в<аше> пре<восходительство>, — провозгласил исправник, у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год.

— А! — сказал Кирила Петрович, — кстати: прочти-ка, а мы послушаем, не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев.

„Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

„От роду 2<3> года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые:* таковых не оказалось“.

— И только, — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отве<чал> исп<равник>, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н испр<авник>. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил — да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил — таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит — от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, бат<юшка> Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указывал на Дефоржа; — выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич почесываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти, и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол — все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

ГЛАВА X.

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что <до> следующего утра никого со двора не выпустит.

ГЛАВА X

Скоро загремела музыка, двери в залу отворились и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины годные на то были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцовал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною — и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать — а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешоптывались со своими соседами; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали — словом, ужин был чрезвычайно весел — и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости — Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал — красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенно<й> комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрагания, решили его выбор. Когда встали изо стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть — —

— Que désire monsieur? — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше, понимаешь ли?

— Monsieur, très volontiers, — отвечал Дефорж, — veuillez donner des ordres en conséquence.

Антон Пафнутьич, очень довольный сво<ими> сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредко к груди потаенную суму — дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна — и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во фр<анцузском> языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения — француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, — закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад. — Я не могу, дормир, в потемках. — Дефорж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман, — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. — Мусье, мусье, — продолжал он, — Же ве авек ву парле. — Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

— Храпит бестия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди воры войд<ут> в открытые двери или влез<ут> в окно — а его, бестию, и пушками не добудишься. — Мусье! а, Мусье! — дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал — усталость и винные пары мало по малу превозмогли его боязливость — он стал дремать, и вскоре глубокой сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон

Пафнутьич открыл глаза, и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се, — произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский.

ГЛАВА XI.

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшедствия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать. 10

На станции** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым — обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою. 20

— Вот бог послал свистуна, — говорила она в пол-голоса, — эк посвистывает — чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чорту. 30

— Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э ге ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел — отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю — вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей, — сказал офи<цер> повелительным голосом.

— Сейчас, — отвечал смотритель. — Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону — — Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку, и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает, — отвечала смотрительша, — какой-то фр<анцуз>. Вот уж 5 часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но г. смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы, — спросил офицер.

— К г-ну Троекурову, — отвечал фр<анцуз>.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier... я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними — что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится, и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что ж делать, г-н офицер. Он предлогает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал достаточный для будущей моей независимости — и тогда bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в комерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — отвечал учитель, — меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кандиторы — но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее — —

Офицер задумался. — Послушайте, — прервал оф<ицер>, — что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель. — Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — отвечал офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотр<итель> и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски, — 10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигн<аций>.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. — Мое отсутствие — — мои бумаги, — повторял он с изумлением. — Вот мои бумаги — Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш пашпорт — — хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте — —

Француз стоял как вкопаный.

Офицер воротился. — Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами — честное ваше слово.

— Честное мое слово, — отвечал франц<уз>. — Но мои бумаги, что мне делать без них.

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят, и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровьи.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: — Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась к окошк<у>, но было уже поздно — Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидор<ыч>, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты право, бессовестный!

Француз стоял как вкопаный. Договор с оф<ицером>, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему <о> существенности удивительного происшедствия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой, вместо часового, стояла развалившаяся бутка, француз велел остановиться, — вылез из брички, и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чамодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном, и не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему <знаком>. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился во-свояси — без брички и без чамодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумаг<ами> француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать, и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы — зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы, и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя — Кирила Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость повидимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник — коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствии начальника.

ГЛАВА XII

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия,— Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки, и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собралися один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна,— а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним появился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид <его> всех поразил, и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова — Антон Пафнутьич спешил откланяться и не смотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII.

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну — особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость <и> боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла форте-пьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующ<ее:>

„Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья — Мне необходимо с вами говорить“.

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеиться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого — и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо — огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами — в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам, и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой: — Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом. — Обстоятельства требуют... я должен вас оставить, — сказал он наконец, — вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться....

Мария Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете,— продолжал он, потупя голову,— я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Всё кончено. — Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству — в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни.... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час.. Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкой свист — и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.— Простите,— сказал Дубровский,— меня зовут, минута может погубить меня.— Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно — Дубровский воротился и снова взял ее руку.— Если когда-нибудь,— сказал он ей нежным и трогательным голосом,— если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего — для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Мария Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите!— закричал Дубровский.— Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа — обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались — дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка — издали услышала она голос Кирила Петровича — и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие <ее> не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.— Где ты была, Маша,— спросил Кирила Петрович,— не встретила ли ты M^{r} Дефоржа?— Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази,— продолжал Кирила Петрович,— исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосх<одительство>,— сказал почтительно исправник.— Эх, братец,— прервал Кирила Петрович,— убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покаместь сам не разберу дела.— Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова.— Француз застращал его, в<аше> п<ревосходительство>,— отвечал испр<авник>,— и взял с него клятву молчать... — Вранье,— решил Кирила Петрович,— сейчас я всё выведу на чистую воду. — Где же учитель?— спросил он у вошедшего слуги.— Нигде не найдут-с,— отвечал слуга.— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сумневаться.— Покажи мне твои хваленые приметы,— сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.— Гм, гм, 23 года <...> Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?— Не найдут-с,— был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива, ни мертва.— Ты бледна, Маша,— заметил ей отец,— тебя перепугали.— Нет, папенька,— отвечала Маша,— у меня голова болит. — Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.— Маша поцаловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами — ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая *Гром победы раз-*

давайся. Гости шептались между собою, исправник казался в дураках — француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во-свояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой,— продолжал он, обратясь к гостям.— Велите закладывать — а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!—

ГЛАВА XIII.

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В $30^{ти}$ верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Кн<язь> долгое время находился в чужих краях — всем имением его управлял отставной маиор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовом. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой от роду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения, и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Не смотря на то наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассе<я>нии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачей атмосфере, и спешил выдти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался;

слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Кн<язь> был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхо<м>, но кня<зь> извинился, указывая на свои бархатные сапоги — и шутя над своею подагрой — он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение, и ему ли оно принадлежит? — — Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. — Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику? — Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле — и покаместь у нас будут исправники за одно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в <Арбатове>?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил. — — Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним — он целые три недели учил ее музыки, да слава богу не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о сво<ем> франц<узе>-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным, и переменил разговор. Возвратясь он велел подавать свою карету, и не смотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной — и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к кн<язю> Верейскому. Подъезжая к <Арбатову>, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом — выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца, и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою — тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галлерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марьи Кириловне их различн<ое> содержание, историю живописцев, указывал на достоинство и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов — посещали некоторые из них — на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марьи Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя — время прошло незаметно — начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой — самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай — слушая неистощимы<е> рассказы любезного говоруна — вдруг раздался выстрел — и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали, и снова

вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейской радовался ее восхищению — а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV.

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, не смотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука — кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку, и поспешила к отцу — в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Кн<язь> Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны кн<язь> встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.— Подойди сюда, Маша,— сказал Кирила Петрович,— скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна,— сказал Кирила Петрович,— но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцаловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Кн<язь> слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла,— сказал Кирила Петрович,— осуши свои слезы, и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при

помолвке,— продолжал он, обратясь к Верейскому,— это у них уж так заведено... Теперь, кн‹язь›, поговорим о деле — т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого кн‹язя›; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным — — брак пугал ее как плаха, как могила... „Нет, нет,— повторяла она в отчаянии,— лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского“. Тут она вспомнила о письме, и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им — и заключало только следующие слова:

„Вечером в 10 час. на прежнем месте“.

ГЛАВА XV.

Луна сияла — июльская ночь была тиха — изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю,— сказал он ей тихим и печальным голосом.— Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство,— отвечала Маша,— но не сердитесь — оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите — я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что если возьмет он себе в голову сделать

счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа...

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною — я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал — бледное лицо покрылось багровым румянцем, и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал — потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика — решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз — пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался — Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь,— сказал <он>, горько вздохнув.— За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать <вас> к волнуемому сердцу и сказать: Ангел умрем! бедный, я должен остерегать<ся> от блаженства — я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О как должен я ненавидеть того — но чувствую — теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело.— Пора,— сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне,— сказал он,— то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба — я буду знать, что делать.

Дубровский поцаловал ее руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI.

Сватовство кн<язя> Верейского не было уже тайною для соседства — Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Кн<язь> о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать — и написала письмо кн<язю> Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо к<нязю> Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говоритъ, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется современем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела, и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выеха<ть> со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением кн<язя> Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. — Папинька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отрекаться Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь, и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по прежнему. Пап<ен>ька, вам без

меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и оттолкнув ее сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра,— вскрикнула Маша,— боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров,— угрозы! мне угрозы,— дерзкая девчонка!— Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защит<ником>. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский,— отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.— Добро,— сказал он ей, после некоторого молчания,— жди себе кого хочешь в избавители, а покаместь сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь до самой свадьбы.— С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду, близ беседки; она решилась пойти ожидать его там — как только станет смеркаться. Смерклось — Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко, и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА XVII.

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в <Арбатово> и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил — что впрочем не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу — голова ее кипела — кровь волновалась — она решилась дать знать обо <всем> Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело — и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша,— сказала она,— зачем ты меня зовешь? — Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашинька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей, и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать — и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марьи Кириловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему [и зацепился за его] обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил — и закричал во всё горло: — Воры, воры — сюда, сюда...

Мальчишка силился от него отделаться. Он был повидим<ом>у двумя годами старее Саши, и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на земь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах, ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться. — Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо, и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий, и вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног — садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— Погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барской двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшедствие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился — и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька — — Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу — —

— Постойте, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко — и я подбежал — и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и — и — — этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать — — Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо — а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику — и спросил его грозно: — Чей ты?

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моем саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина: каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты — косой — ты мне кажешься малый не промах.[1] — Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

---

[1] *Первоначальный вариант дальнейшего см. в отделе „Другие редакции и варианты“.*

— Добро,— сказал Кирила Петрович,— запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтоб он не убежал — или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там, и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником,— сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами,— да как можно скорее.

— Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая: *Гр<ом> <победы>.* — М<ожет>. б<ыть>, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник.

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петрович,— я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосход<ительство>,— сказал исправник с видом обрадованным,— где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказ<ывать> утрѐннее происшедствие, не упоминая однако ж о Марьи Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, в<аше> п<ревосходительство>, переговорить с вами наедине,— сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел,— сказал ему исправник,— посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение —

но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение.— Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина,— сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцаловал у него руку.

— Ступай себе домой,— сказал ему Кирила Петрович,— да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом не оглядываясь через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко — окошко поднялось, и старуха показалась.— Бабушка, хлеба,— сказал мальчик,— я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок,— отвечала старуха.— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.— Да войди ж в избу.— Некогда, бабушка,— мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.— Экой непосед,— проворчала старуха,— на, вот тебе ломотик,— и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слуш<ать>; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении — слуги бегали, девки суетились — в сарае кучера закладывали карету — на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью брилиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.— Сию минуту,— отвечала дама,— Марья Кириловна, встаньте, по-

смотритесь; хорошо ли? — Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.— Невеста готова,— сказала дама Кирилу Петровичу,— прикажите садиться в карету. — С богом,— отвечал Кирила Петрович, и взяв со стола образ,— подойди ко мне, Маша,— сказал он ей тронутым голосом,— благословляю тебя . . . — Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.— Папинька . . . папинька . . .— говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить — ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать — и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты, и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь — за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла — но еще медлила, еще ожидала; свящ<енник>, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцалуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Кн<язь> обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал — и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в <Арбатово>, туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой кн<язь> нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты, и не требовали ответов. Таким образом проехали они около 10 верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полу-маске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: — Вы свободны, выходите.— Что это значит,— закричал князь,— кто ты такой? . . — Это Дубровский,— сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был

ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных <рук> вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.— Не трогать его! — закричал Дубровский,— и мрачные его сообщники отступили.— Вы свободны,— продолжал Дубровский, обращаясь к бледной кн<ягине>.— Нет,— отвечала она.— Поздно — я обвенчана, я жена князя Верейского.— Что вы говорите,— закричал с отчаяния Дубровский,— нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться... — Я согласилась, я дала клятву,— возразила она с твердостию,— князь мой муж, прикажите освободить его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души — лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под устцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана.

ГЛАВА XIX.

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышал<ось> маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и пообщему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою и искусством, обличающим опытного портного — и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе — разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, — а другие разбрелись по лесу — или прилягли соснуть, по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку — сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубр<овушка>,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога.— Полно тебе, Степка,— сказала она сердито,— барин почивает, а ты знай горланишь — нет у вас ни совести, ни жалости.— Виноват, Егоровна,— отвечал Степка,— ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает.— Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровате. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женской серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул — в укреплении сделалась тревога — и Степка просунул к нему голову в окошко.— Батюшка, Владимир Андреевич,— закричал он,— наши знак подают, нас ищут. Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие, и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе, при его появлении настало глубокое молчание.— Все ли здесь? — спросил Дубровский.— Все, кроме дозорных,— отвечали <ему>.— По местам! — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам — Дубровский пошел к ним навстречу.— Что такое? — спросил он их.— Солдаты в лесу,— отвечали они,— нас окружают. Дубровский велел запереть ворота — и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов — и стали приближаться — разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу — и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам.— Готовиться к бою,— сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох — снова всё утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский

приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов, и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался — солдаты уже были на валу — разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали — разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих, и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшедствия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после <. . . . .> он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни.— Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло.— После сей речи он оставил их, взяв с собою одного**. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний — приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали — грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.



ПИКОВАЯ ДАМА

I.

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом. 10
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим апетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин. 20

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте?*.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера: — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами, и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,— сказал Германн: — но я не в 30 состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и всё! — заметил Томский.— А если кто для меня не понятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть,— продолжал Томский:— каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного,— сказал Нарумов,— что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, 10 чтоб увидеть la Vénus moscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше, и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком 20 ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину, и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь, и что есть разница между принцем и карет30 ником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион, впрочем Сен-Жермен, не смотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность, и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих 40 пор любит его без памяти, и сердится, если говорят об нем

с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку, и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас, и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа, и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался. — „Я могу вам услужить этой суммою", сказал он, „но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться". 10

„Но, любезный граф", отвечала бабушка, „я говорю вам, что у нас денег вовсе нет". — „Деньги тут не нужны", возразил Сен-Жермен: „извольте меня выслушать". Тут он открыл ей тайну, за которую всякой из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся, и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю, и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно. 20

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов: — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики? 30

— Да, чорта с два! — отвечал Томский: — у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них, и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу, — около трех сот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтобы он 40

поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч, и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, — отыгрался, и остался еще в выигрыше...

Однако, пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки, и разъехались.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.

Светский разговор.

Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов, и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman,— сказал, вошедши, молодой офицер.— Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей, и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцовали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела?— отвечал рассеянно Томский:— она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову, и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла!— сказала она:— а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом: — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный, или статский?

10 — Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась, и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов: — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть, такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

20 — Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу, и наклонила голову над самой канвою.

30 В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,— сказала она,— карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня.— Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня, и побежала в переднюю.

Слуга вошел, и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,— сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу, и прочла несколько строк.

— Громче!— сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!—

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она:— что за вздор! Отошли это князю Павлу, и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу. 10

— Что ж ты не одета?— сказала графиня:— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься?— сказала им графиня.— Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя!— сказала графиня.— Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер. 20

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

— И вот моя жизнь! — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой 30 души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. 40

Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай, и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы, и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую
10 жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцовала только тогда, как не доставало vis-à-vis, и дамы брали ее под руку всякой раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение, и глядела кругом себя,— с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где
20 стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды,— это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу, и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять, — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала
30 глядеть на улицу, и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепе-
40 том неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякой раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо расчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*,— а между тем, целые ночи просиживал за карточными столами, и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение, и целую ночь не выходил из его головы.— Что, если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу: что, если старая графиня откроет мне свою тайну!— или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это всё требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал, и доставит мне покой и независимость!—

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***,— отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу, и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился, и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III.

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.

Переписка.

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею, и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился?— как зовут этот мост?— что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не в попад, и рассердила графиню. 10

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю, и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было незапечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово-в-слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. 20

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении, и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка, и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. 30

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу,—и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо,— и рвала его: то выра-

жения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. „Я уверена“, писала она, „что вы имеете честные намерения, и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше, и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение“.

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку, и бросила 10 письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его, и вошел в кандитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо, и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того, Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,— сказала она:— эта записка не ко мне.

20 — Нет, точно к вам!— отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.— Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть!— сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу, им употребленному.— Это писано верно не ко мне!— И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?— сказала мамзель:— я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька!— сказала Лизавета Ивановна, вспых-30 нув от ее замечания:— вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко 40 следующее письмо:

— „Сегодня бал у *** ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но вероятно вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит: слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату“.

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. — Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю, и увидел слугу, спящего под лампой, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже Me Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светлозеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу

с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел
10 в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать — все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и дом осветился.
20 В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла, и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета: нако-
30 нец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла, и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли,
40 но по действию скрытого галванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец: — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот всё-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился, и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни — не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уже недолго, — я готов взять грех ваш

на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма!— сказал он, стиснув зубы:— так я ж заставлю тебя отвечать....

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

10 При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою, и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашиваю последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты?— да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV.

7 Mai 18**
Homme sans mœurs et sans religion!

Переписка.

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна, и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии, и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его, потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну, и танцовал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы всё это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский: — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги похолодели...

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!.

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть, — на гулянье!.. Бог его знает! может быть в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret? — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. — Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шопотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн: — я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется, —продолжал Германн, — я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее, и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное пресле-

дование, всё это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она, в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее, молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. 10

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн: — пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза, и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь. 20

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову, и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице, и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет ощупал за обоями дверь, и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться... 30

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. 40

V.

> В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон-В***. Она была вся в белом, и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник!“
>
> *Шведенборг.*

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, — и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече, и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, — дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. „Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного“. Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня,

ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю, и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился, и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый каммергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать, и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать, и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу, и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом: — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, — но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям, и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку, и записал свое видение.

VI.

— Атанде!
— Как вы смели мне сказать *атанде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *атанде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: — Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который час, он отвечал: — без пяти минут семерка. — Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около

которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться, и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.

Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать
10 играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты, и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, — сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь поздравил Германна с разрешением долговременного поста, и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею
20 картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет: — извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч, — отвечал Германн.

При этих словах, все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. — Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, что игра ваша сильна: — никто более двух сот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

30 — Что ж? — возразил Германн: — бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я конечно уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов, прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет, и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

40 Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шопот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов, и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером, он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяноста четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием, и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося, Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял, и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн, и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. — Славно спонтировал! говорили игроки. — Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение.

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы, и бормочет необыкновенно скоро: — Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого
10 человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

КИРДЖАЛИ

ПОВЕСТЬ

Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов, и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Всё селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых 10 своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван, — и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии, и оттуда 20 послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею частию, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами, Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафианос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе. 30

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албан-

цев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута, и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время имянинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то маиора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Маиор, не зная что делать, побежал к реке, за которой гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Маиор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея, употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут, и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненый накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже, и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была на бекрень, а атаганы и пистолеты всё еще тор-

чали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал, и на основании мирных договоров, потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами. 10

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины, и признался, что он Кирджали. „Но, — прибавил он, — с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафианос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков, и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?“ После того Кирджали 20 замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался не долго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны, и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь 30 клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями, и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.) 40

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были 10 правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу 20 и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться — и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему, и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, 30 подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: *Гайда!* Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.

— Что это говорил вам Кирджали? — спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне — он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль 40 бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько

лет уже спустя, встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать, — отвечал он, и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покаместь заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его, и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память.

Турки развесили уши.

— Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с *гальбинами*. Видно ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою, и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: *здесь*.

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень, и стал смотреть на их работу.

— Ну что? скоро ли? — спрашивал он, — дорылись ли?

— Нет еще, — отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ, — говорил он. — И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались, и стали советоваться. — Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

10 Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *левов*, и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы, и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?



ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

ГЛАВА I.

— Quel est cet homme?
— Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.
—Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень 10 приятна; но он имел несчастие писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Не смотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, не смотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и 20 которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее *пользы и удовольствия*. Возвратиться ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новинького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле: тот уж кличет своего сынка и заста- 30 вляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия,

запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие Музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить до каких мелочей мог доходить человек, одаренный впрочем талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете, и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новинького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучн‹ые› рифм‹ы› бегут на встречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. — Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрыпнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

„Египетские ночи". Черновая рукопись начала повести.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2386А, л. 17.

16

Чарскій былъ одинъ изъ коренныхъ
жителей Петербурга. Ему не было
еще тридцати лѣтъ; онъ не былъ
~~еще~~ женатъ; служба не обременяла
его. (покойный) Дядя его, бывшій Вице-Губерна-
-торомъ въ хорошее время, оста-
-вилъ ему порядочное имѣніе. Жизнь
его могла быть очень пріятна;

„Египетские ночи“. Беловая рукопись начала повести.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2386А, л. 16.



— Кто там? — спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел.

Он был высокого росту — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком.

— Что вам надобно? — спросил его Чарский на французском языке.

— Signor, — отвечал иностранец с низкими поклонами, — Lei voglia perdonarmi s<e>...

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на италианском языке.

— Я неаполитанский художник, — говорил незнакомый, — обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле, и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату, и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете? — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

— Signor, — отвечал он запинаясь... — ho creduto... ho sentito... la vostra Eccelenza mi perdonera...

— Что вам угодно? — повторил сухо Чарский.

— Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, — отвечал итальянец, — и потому осмелился к вам явиться...

— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения *libretto*. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом выпрашивая себе вспоможения. Впрочем вероятно вам сказали в шутку будто я великий стихотворец. Правда я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но слава богу с г<осподами> стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, — поразили его. Он понял, что между надменным dandy, стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке, и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выдти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда ж вы? — сказал он итальянцу. — Постойте... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло <и> признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, eccelenza! — отвечал итальянец; — я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? — и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил италиянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России коё-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда италиянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное — чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?

— Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают 10 итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

ГЛАВА II.

Я царь, я раб, я червь, я бог.

Державин.

На другой день Чарский в темпом и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний италиянец отворил ее.

— Победа! — сказал ему Чарский, — ваше дело в шляпе. Княгиня** дает вам свою залу — вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь
10 вам, если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

— А это главное! — вскричал италиянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. — Я знал, что вы мне поможете. Corpo di Bacco! Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне
20 целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чамодане (из двух стульев, находившихся в тесной канурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

30 Глаза итальянца засверкали — он взял несколько акордов — гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

<[Поэт идет]: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
„Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит; 10
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет“.
— Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет? 20
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он — 30
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.>

Италиянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что? — спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что? — спросил импровизатор, — каково?

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже стала вашею собственностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякой талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера, и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело, и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость, и пустился с италиянцем в меркантильные расчеты. Италиянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный италиянец не заметил этой перемены и проводил <его> по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

ГЛАВА III.

Цена за билет 10 рублей; начало в 7 часов.

Афишка.

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями, и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления, и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. По средине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетилися, приготовили смычки и заиграли увертюру из Танкреда. Всё уселось и примолкло — последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приблизился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк... Италиянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении, все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Италиянец, подождав не много, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками, им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется, и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва в полголоса, потом громче, и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног, и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук италиянца, написал несколько слов; италиянец взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностию написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой <человек>, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-италиянски, и покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою.— Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую в слух:

Семейство Ченчи.
(La famiglia de<i> Cenci.)
(L'ultimo giorno di Pompeïa.)
Cleopatra e i suoi amanti.
La primavera veduta da una prigione.
Il trionfo di Tasso.

— Что прикажет почтенная публика?— спросил смиренный италиянец,— назначит ли мне сама один из предложенных предметов, или предоставит решить это жребию?. .

— Жребий!..— сказал один голос из толпы.— Жребий, жребий! — повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил:— Кому угодно будет вынуть тему?— Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам тут сидевших не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке — он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку, и вынула сверток. 10

— Извольте развернуть и прочитать,— сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки. 20

— Господа,— сказал он, обратясь к публике,— жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовник<ов>. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto...

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать,— продолжал он,— на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться. 30

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание, и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести, и обратясь к импровизатору, сказал ему на италиянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть 40

ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом
10 руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

<Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.
20 Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
30 Ценою жизни ночь мою?—

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,

Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый, 10
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура. 20
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем. 30

— Клянусь... — о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари

Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.>[1]

---

[1] *Возможно, что продолжением этих стихов является отрывок*

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь с молоду.

Пословица.



ГЛАВА I.

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ.

— Был бы гвардии он завтра ж капитан
— Того не надобно; пусть в армии послужит
— Изрядно сказано! пускай его потужит. . .
. . . .
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-маиором в 17. . году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревни, где и женился на 10 девице Авдотьи Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости маиора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремян- 20 ному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. „Слава богу“ — ворчал он про себя — „кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги, и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!“

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии 30 солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel, не очень

понимая значения этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полез-
10 ную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня коё-как болтать по-русски,— и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила, и по-
20 жаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей, и пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул
30 меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать, и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье
40 а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал

Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак батюшка читал Придворный Календарь, изредко пожимая плечами и повторяя вполголоса: „Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!... Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...“ Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: „Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?“

— Да вот пошел семнадцатый годок,— отвечала матушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

„Добро“— прервал батюшка,—„пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни“.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему было верьхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

„Не забудь, Андрей Петрович“,— сказала матушка —„поклониться и от меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями“.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

„Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши“.

— Ну, а там что?

„Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк“.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его ба-
10 тюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки, и подозвав меня, сказал: „Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством“.

Итак все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой
20 петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чамодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: „Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье с нову, а честь с мо-
30 лоду“. Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием
40 в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при

выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, повидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчивал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали изо стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. „Это“ — говорил он — „необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!“ Я совершенно был убежден, и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, и после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: „Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покаместь поедем к Аринушке“.

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, по-

вторяя, что надобно к службе привыкать. Встав изо стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. „Что это, сударь, с тобою сделалось?“ — сказал он жалким голосом, „где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!“ — Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь; — ты верно пьян, пошел спать... и уложи меня.

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшедствия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. „Рано, Петр Андреич“, — сказал он мне, качая головою — „рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало к Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при, водкю“. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!“

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. „Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что негоден... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?“

В это время мальчик вошел, и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

„Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин“.

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и обратясь к Савельичу, который был *и денег и белья и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. „Как! зачем?“ — спросил изумленный Савельич. — Я их ему должен — отвечал я со всевозможной холодностию. — „Должен!“ — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление; — „да когда же, сударь,

успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам".

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него гордо, сказал: — Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то, что тебе приказывают.

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. — Что же ты стоишь! — закричал я сердито. Савельич заплакал. „Батюшка Петр Андреич", — произнес он дрожащим голосом — „не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко на крепко заказали не играть, окроме как в орехи..." — Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя в зашеи прогоню.

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

ГЛАВА II.

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.

10 *Старинная песня.*

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться, и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: „Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее
20 и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся".

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-по-малу
30 успокоился, хотя всё еще изредка ворчал про себя, качая головою: „Сто рублей! легко ли дело!"

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Всё

покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: „Барин, не прикажешь ли воротиться?“

— Это зачем?

„Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу“.

— Что ж за беда!

„А видишь там что?“ (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба. 10

„А вон — вон: это облачко“.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних мятелях, и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции, и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали 20 дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла, и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась мятель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло. „Ну барин“,— закричал ямщик — „беда: буран!“...

Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. 30

— „Что же ты не едешь?“ — спросил я ямщика с нетерпением.— Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. — Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: „И охота было не слушаться“ — говорил он сердито — „воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!“ — Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич 40

ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения мятели... Вдруг увидел я что-то черное. „Эй, ямщик!“ — закричал я — „смотри: что там такое чернеется?“ Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись 10 с человеком. „Гей, добрый человек!“ — закричал ему ямщик. — „Скажи, не знаешь ли где дорога?“

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— „Сторона мне знакомая“ — отвечал дорожный — „слава богу, исхожена изъезжена вдоль и поперег. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по 20 звездам“.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: „Ну,слава богу, жило недалеко; сворачивай в право да поезжай“. — А почему ехать мне в право? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.— Ямщик казался мне прав. „В самом деле“ — сказал я: — „почему думаешь ты, что жило не далече?“ — А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, 30 деревня близко. — Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю 40 с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня:

ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты, и въехал на барской двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки, и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. „Тише“, — говорит она мне — „отец болен при смерти и желает с тобою проститься“. — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: „Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его“. Я стал на колени, и устремил глаза мои на больного. Что ж?... Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: — Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика? — „Всё равно, Петруша“, — отвечала мне матушка — „это твой посаженый отец; поцалуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...“ Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины, и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойсь, подойди под мое благословение...“ Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: „Выходи сударь: приехали“.

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

„На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся“.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? спросил я у Савельича.

„Здесь, ваше благородие“, — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати, и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. — Что, брат, прозяб? — „Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик“. В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. „Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье“. Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему, и взглянув ему в лицо: „Эхе“ — сказал он — „опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?“ — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: „В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?“

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерни звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — „Молчи дядя“, — возразил мой бродяга — „будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!“ — При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать

было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. „Полтину на водку!“ — сказал он, — „за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать“. Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. Хорошо — сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой зайчий тулуп.

„Помилуй, батюшка Петр Андреич!“ — сказал Савельич. — „Зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке“.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль,— сказал мой бродяга,— пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

„Бога ты не боишься, разбойник!“ — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — „Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища“.

— Прошу не умничать,— сказал я своему дядьке;— сейчас неси сюда тулуп.

„Господи владыко!“ — простонал мой Савельич. — „Зайчий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!“

Однако зайчий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырости, был

немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав,как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: „Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей".— Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о зайчьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: „Поже мой!" — сказал он.— „Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еше твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!" — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. „Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство"... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. „ваше превосходительство не забыло"... гм... „и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку"... Эхе, брудер! так он еше помнит стары наши проказ? „Теперь о деле... К вам моего повесу"... гм... „держать в ежевых рукавицах"... Что такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое „дершать в ешевых рукавицах?" повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,— отвечал я ему с видом как можно более невинным,— обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежевых рукавицах.

„Гм, понимаю... „и не давать ему воли"... нет, видно ешевы рукавицы значит не то... „При сем... его паспорт"... Где ж он? А, вот... „отписать в Семеновский"... Хорошо, хорошо: всё будет сделано... „Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом" — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,— сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт — всё будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе на-

стоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня".

Час от часу не легче! подумал я про себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу Киргиз-кайсацких степей!.. Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною 10 поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

ГЛАВА III.

КРЕПОСТЬ.

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

10 *Недоросль.*

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим
20 ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.— Далече ли до крепости?— спросил я у своего ямщика. „Недалече"— отвечал он.— „Вон уж видна". — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. — Где же крепость?— спросил я с удивлением.— „Да вот она"—
30 отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто ие встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. „Войди, батюшка“, — отвечал инвалид: — „наши дома“. Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. „Что вам угодно, батюшка?“ — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился-было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь „Ивана Кузмича дома нет“ — сказала она; — „он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка“. Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. „Смею спросить“ — сказал он; — „вы в каком полку изволили служить?“ Я удовлетворил его любопытству. „А смею спросить“ — продолжал он, — „зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?“ — Я отвечал, что такова была воля начальства. „Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки“ — продолжал неутомимый вопрошатель. — „Полно врать пустяки“ — сказала ему капитанша: — „ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка“, — продолжала она, обращаясь ко мне — „не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет“.

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. „Максимыч!“ — сказала ему капитанша. — „Отведи г. офицеру квартиру, да почище“. — „Слушаю, Василиса Егоровна“, — отвечал урядник. — „Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?“ — „Врешь, Максимыч“, — сказала капитанша: — „у Полежаева и так тесно; он

же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?"

— Всё, славу богу, тихо, — отвечал казак; — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

„Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. —
10 „Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру".

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько
20 куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: „Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?"

На другой день по утру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым.
30 „Извините меня" — сказал он мне по-французски — „что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени". — Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который
40 чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Его-

ровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились-было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. „А здесь“—прибавил он—„нечего вам смотреть“. 10

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. „Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился!“—сказала комендантша.—„Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?“—Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья 20 Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. „Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться“.— Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. „Что это, мой батюшка?“—сказала ему жена.—„Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься“.—А слышь ты, Василиса Егоровна,—отвечал Иван Кузмич,— я был занят службой: солдатушек учил.

„И, полно!“ — возразила капитанша.— „Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. 30 Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол“.

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, „легко ли!“—сказала она;—„ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, 40

коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою".—Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее; и я спешил переменить разговор.—Я слышал,—сказал я довольно некстати,—что на вашу крепость собираются напасть башкирцы.— „От кого, батюшка, ты изволил это слышать?" — спросил Иван Кузмич.— Мне так сказывали в Оренбурге,— отвечал я. „Пустяки!"— сказал комендант.—„У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню".—И вам не страшно,—продолжал я, обращаясь к капитанше,—оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?—„Привычка, мой батюшка",—отвечала она.—„Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут".

— Василиса Егоровна прехрабрая дама — заметил важно Швабрин.— Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

„Да, слышь ты",—сказал Иван Кузмич:—„баба-то не робкого десятка".

— А Марья Ивановна? — спросил я:— так же ли смела, как и вы?

„Смела ли Маша?"—отвечала ее мать.—„Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки".

Мы встали изо стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

ГЛАВА IV.

ПОЕДИНОК.

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную, и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия: но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа

его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович
10 Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия, вынул я из кармана свою тетрадку, и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
20 Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь?— спросил я Швабрина, ожидая
30 похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

„Потому“ — отвечал он,— „что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы“

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердо разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою.—„Посмотрим“— сказал он —„сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?

— Не твое дело,— отвечал я нахмурясь,— кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок. 10

„Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!“— продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня; — „но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками“.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

„С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег“.

Кровь моя закипела.— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование. 20

„А потому“,— отвечал он с адской усмешкою,— „что знаю по опыту ее нрав и обычай“.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве,— ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице. „Это тебе так не пройдет“— сказал он, стиснув мне руку.—„Вы мне дадите сатисфакцию“.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу, и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. „А, Петр Андреич!“— сказал он увидя меня;—„добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?“ Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. „Вы изволите говорить“— сказал он мне,—„что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить“. 30 40

— Точно так.

„Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею
10 спросить?“

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении „Как вам угодно“ — сказал Иван Игнатьич: — „делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся“.

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. „Воля ваша“ — сказал он. — „Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану
20 Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...“

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не
30 имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. „Зачем нам секунданты“ — сказал он мне сухо: — „без них обойдемся“. Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, повидимому,
40 так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался

„Давно бы так"— сказал он мне с довольным видом;—„худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров".

„Что, что, Иван Игнатьич?"— сказала комендантша, которая в углу гадала в карты:—„я не вслушалась".

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

„Иван Игнатьич"— сказал он —„одобряет нашу мировую".

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

„Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем". 10

— За что так?

„За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна".

— Нашли за что ссориться! за песенку!... да как же это случилось?

„Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось". 20

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою 30 шпагу, попробовал ее конец, и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. „Нас могут застать"— сказал он мне;—„надобно поспешить". Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед

за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантской дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно „привел!“ Нас встретила Василиса Егоровна. „Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? 10 Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?“

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: „А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле“. Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. „При всем моем уважении к вам“ — сказал он ей хладнокровно — „не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело“. — Ах! мой 20 батюшка! — возразила комендантша; — да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения, да каялись перед людьми.

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-по-малу буря утихла; комендантша успокоилась, и заставила нас друг друга поцаловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта повидимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. — Как вам не стыдно 30 было — сказал я ему сердито — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать? — „Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил“ — отвечал он; — „Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось“. С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. — Наше дело этим кончиться не может — сказал я ему. „Конечно“, — отвечал Швабрин; — „вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!“ — И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. „Я так и обмерла“ — сказала она, — „когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч“. 10

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

„Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх“.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. „Мне кажется“— сказала она,— „я думаю, что нравлюсь“.

— Почему же вам так кажется? 20

„Потому что он за меня сватался“.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

„В прошлом году. Месяца два до вашего приезда“.

— И вы не пошли?

„Как изволите видеть. Алексей Иваныч конечно человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцаловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!“

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. 30

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. „Зачем откладывать?“—сказал мне Швабрин:—„за нами не смотрят. 40

Сойдем к реке. Там никто нам не помешает". Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинки, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое
10 имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке....... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

ГЛАВА V.

ЛЮБОВЬ.

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь. 10
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровате, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок, и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. „Что? каков?“ — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. — Всё в одном 20 положении, — отвечал Савельич со вздохом; — всё без памяти, вот уже пятые сутки. — Я хотел оборотиться, но не мог. — Где я? кто здесь? — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. „Что? как вы себя чувствуете?“ — сказала она. — Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне... — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. „Опомнился! опомнился!“ — повторял он. — „Слава тебе, владыко! Ну батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!.. Марья Ивановна перервала его речь. „Не говори с ним 30 много, Савельич“, — сказала она. — „Он еще слаб“. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И так я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись подозвал я Савельича, и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркой и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. „Милая, добрая Марья Ивановна,— сказал я ей — будь моею женою, согласись на мое счастие“.— Она опомнилась. „Ради бога успокойтесь“ — сказала она, отняв у меня свою руку.— „Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня“. С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла всё мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Всё семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастию. „Но подумай хорошенько“ — прибавила она:—„со стороны твоих родных не будет ли препятствия?“

Я задумался. В нежности матушкиной я не сумневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет, и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне, и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения Я показал письмо Марьи Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: „Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается, да раскается“.— Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант с согласия своей

супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви, и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться, и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии. 10

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: „Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость". Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать, и с первых строк увидел, что всё дело пошло к чорту. Содержание письма было следующее: 20

„Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, не смотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость. 30

Отец твой *А. Г.*"

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марьи Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: — Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить. — Савельич был поражен как громом. „Помилуй, сударь“, — сказал он чуть не зарыдав, — „что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?“ — Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы? — „Я? писал на тебя доносы?“ — отвечал Савельич со слезами. — „Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя“. Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

„Стыдно тебе, старый пес, что ты, не взирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего, приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили“.

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. „Вот до чего я дожил“ — повторял он; — „вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!“

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. „Что это с вами сделалось?“ — сказала она, увидев меня.—„Как вы бледны!“ — Всё кончено!—отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: „Видно мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...“ — Этому не бывать!— вскричал я, схватив ее за руку;— ты меня любишь; я готов на всё. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там современем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит... „Нет, Петр Андреич“,— отвечала Маша —„я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...“ Тут она заплакала, и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. „Вот, сударь“,— сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги;— посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом“. Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

„Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний;— а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня,

мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цырюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилось такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается.
10 А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев".

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-по-малу приучился я сидеть
20 один у себя дома. Василиса́ Егоровна сначала за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. Неожиданные происшед-
30 ствия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI.

ПУГАЧЕВЩИНА.

> **Вы, молодые ребята, послушайте,**
> **Что мы, старые старики, будем сказывати.**
>
> *Песня.*

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшедствий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-маиором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении, и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Всё было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра, и смотря в окно на тучи,

бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: „Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал". Тут он надел очки и прочел следующее:

„Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову.

10 „По секрету.

„Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в Яицких селениях, и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вве-
20 ренную вашему попечению".

„Принять надлежащие меры!"— сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу.—„Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите всё это в тайне, чтоб
30 в крепости никто не мог о том узнать преждевременно".

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали.— Как ты думаешь, чем это кончится?— спросил я его. „Бог знает"— отвечал он;—„посмотрим. Важного покаместь еще ничего не вижу. Если же..." Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Не смотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал

свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание, и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он ни мало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: „А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником“. — А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились? — Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него ни добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть, и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. „Что бы значили эти военные приготовления?“ — думала комендантша: — „уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?“ Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала качая

головою: „Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?“

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

„А что за человек этот Пугачев?“ — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

10 Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадьи, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

20 В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою, и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость
30 принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: „Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!“ Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров, и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом.
40 Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правди-

вый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

„Слышь ты, Василиса Егоровна",— сказал он ей покашливая. — „Отец Герасим получил, говорят, из города..." — Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша; ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь! — Иван Кузмич вытаращил глаза. „Ну, матушка",— сказал он — „коли ты уже всё знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и при тебе".— То-то, батько мой,— отвечала она; — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами. 10

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях, и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

„Каков мошенник!" — воскликнула комендантша.— „Что смеет еще нам предлагать! Выдти к нему на встречу и положить к ногам 20 его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?"

— Кажется, не должно бы,— отвечал Иван Кузмич.— А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

„Видно он в самом деле силен"— заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу — сказал комендант.— Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

„Постой, Иван Кузмич"—сказала комендантша, вставая с места.— 30 „Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться".

Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения,— мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и 40

того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сумневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, 10 сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем.— „Эхе!“— сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году.— „Да ты видно старый волк, побывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?“

20 Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. „Что̀ же ты молчишь?“ — продолжал Иван Кузмич: — „али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослал в нашу крепость?“

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением, и не отвечал ни слова.

„Якши“— сказал комендант; — „ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!“

30 Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку, и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил 40 человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся

в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. „Ну“ — сказал комендант; — „видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем“.

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

„Что это с тобою сделалось?“ — спросил изумленный комендант. 10

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на 20 час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: „А слышь ты 30 матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?“

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

„Ну, матушка“, — возразил Иван Кузмич — „оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?“ 40

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

„Нет, Василиса Егоровна“,— продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни.— „Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом“.

10 — Добро,— сказала комендантша,— так и быть, отправим Машу. А меня, и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

„И то дело“— сказал комендант.—„Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?“

— У Акулины Памфиловны,— отвечала комендантша.— Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

20 Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. „Прощайте, Петр Андреич!“ — сказала она мне со слезами.— „Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нам друг с другом 30 увидеться; если же нет...“ Тут она зарыдала. Я обнял ее.— Прощай, ангел мой,— сказал я,— прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!— Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцаловал и поспешно вышел из комнаты.

ГЛАВА VII.

ПРИСТУП.

> **Голова моя, головушка,**
> **Голова послуживая!**
> **Послужила моя головушка**
> **Ровно тридцать лет и три года.**
> **Ах, не выслужила головушка**
> **Ни корысти себе, ни радости,**
> **Как ни слова себе доброго**
> **И ни рангу себе высокого;**
> **Только выслужила головушка**
> **Два высокие столбика,**
> **Перекладинку кленовую,**
> **Еще петельку шелковую.**
>
> *Народная песня.*

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выдти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений, и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. „Куда вы?“ — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.— „Иван Кузмич на валу, и послал меня за вами. Пугач пришел“.
— Уехала ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом.—

„Не успела“— отвечал Иван Игнатьич: — „дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!“

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и
10 башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: „Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню, и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!“ Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас
20 ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее.— „Ну, что?“— сказала комендантша.—„Каково идет баталья? Где же неприятель?“— Неприятель недалече,— отвечал Иван Кузмич.— Бог даст, всё будет ладно. Что, Маша, страшно тебе? — „Нет, папенька“,— отвечала Марья Ивановна;—„дома одной страшнее“. Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать,
30 что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги;
40 у другого на копьё воткнута была голова Юлая, которую, стрях-

нув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: „Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!“

„Вот я вас!“ — закричал Иван Кузмич. — „Ребята! стреляй!“ Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под устцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. „Василиса Егоровна!“ — сказал комендант. — „Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива, ни мертва“.

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: „Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу“

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцаловав, сказал ей изменившимся голосом: „Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей“. (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала.) — Поцалуемся ж и мы, — сказала заплакав комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила! — „Прощай, прощай, матушка!“ — сказал комендант, обняв свою старуху. — „Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан“. Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя, и вдруг начали слезать с лошадей. „Теперь стойте крепко“ — сказал комендант; — „будет приступ...“ В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое

близкое расстояние, и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. „Ну, ребята",— сказал комендант; —„теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!"

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. „Что ж вы, детушки, 10 стоите?" — закричал Иван Кузмич. — „Умирать, так умирать: дело служивое!" В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: „Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!" Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что госу- 20 дарь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили 30 Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. „Который комендант?"— спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: „Как ты смел противиться мне, своему государю?" Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: „Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!" Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал 40 в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича

вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. „Присягай“ — сказал ему Пугачев — „государю Петру Феодоровичу!“ — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец! — Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. „Вешать его!“ — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. „Не бось, не бось“, — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: „Постойте, окаянные! погодите!..“ Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. „Отец родной!“ — говорил бедный дядька. — „Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!“ Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. „Батюшка наш тебя милует“ — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. „Цалуй руку, цалуй руку!“ — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. „Батюшка Петр Андреич!“ — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — „Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поцалуй у него ручку“. Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: „Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!“ — Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, цалуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою

шайку. Всё это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. „Батюшки мои!“— кричала 10 бедная старушка.— „Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу“. Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. „Злодеи!“— закричала она в исступлении.— „Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!“— Унять старую ведьму!— сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ.

Незваный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я всё стоял на одном месте, и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантской дом... Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; всё растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лмападка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальцо, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал, и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

„Ах, Петр Андреич!“ — сказала она, сплеснув руками. — „Какой денёк! какие страсти!..“

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

„Барышня жива“ — отвечала Палаша. — „Она спрятана у Акулины Памфиловны“.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее

вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

„Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою“ — отвечала попадья. — „Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да слава богу, всё прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да̀ застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: „А кто это у тебя охает, старуха?“ Я вору в пояс: племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя. — „А молода твоя племянница?“ — Молода, государь. — „А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу“. — У меня сердце так и йокнуло, да нечего было делать. — Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и придти к твоей милости. — „Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу“. И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то“. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. „Ступайте себе домой, Петр Андреич“, — сказала она; — „теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что̀ будет, то будет; авось бог не оставит!“

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. „Слава богу!“ — вскричал он, увидя меня. — „Я было думал, что злодеи опять тебя

подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?“.

— Нет, не узнал; а кто же он такой?

„Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Зайчий тулупчик совсем новёшенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!“

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

„Не изволишь ли покушать?“ — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — „Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю“.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Чтò мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марьи Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, „что-де великий государь требует тебя к себе“. — Где же он? — спросил я, готовясь повиноваться.

„В комендантском“ — отвечал казак. — „После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а пáрится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его“.

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантской дом, заране воображая себе свидание с Пугачевым, и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши всё еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня
10 доложить, и тотчас же воротившись ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. „А, ваше благородие!“ — сказал Пугачев, увидя меня. — „Добро пожаловать; честь и место, милости просим“. Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола.
20 Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и
30 о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрешнему дню. „Ну, братцы“, — сказал Пугачев — „затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай› — Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

> Не шуми, мати зеленая дубровушка,
> Не мешай мне доброму молодцу думу думати.

Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь, 10
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной. 20

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — всё потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали изо стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: „Сиди; я хочу с тобою переговорить“. — Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. 30

„Что, ваше благородие?“ — сказал он мне. — „Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету,

был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват" — продолжал он; — „но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?"

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

„Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — „Или 10 ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо".

Я смутился: признать бродягу государем — был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я 20 признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую.

„Кто же я таков, по твоему разумению?"

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. „Так ты не веришь", — сказал он, — „чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи 30 мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?"

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. „А коли отпущу" — сказал он — „так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?"

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На 40 что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба

моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебя судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. „Так и быть“ — сказал он, ударя меня по плечу. — „Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит“.

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и вороты были заперты. Казалось всё в нем было тихо. 10

Я пришел к себе на квартиру, и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. „Слава тебе, владыко!“ — сказал он перекрестившись. — „Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе коечто заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой“.

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически. 20

ГЛАВА IX.

РАЗЛУКА.

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться
Грустно, будто бы с душой.
Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где всё еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под устцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. „Слушай" — сказал он мне. — „Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!" Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: — „Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость". С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели

лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву, и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выдет. „Это что?“ спросил важно Пугачев. — Прочитай, так изволишь увидеть — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. „Что ты так мудрено пишешь?“ — сказал он наконец. — „Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?“

Молодой малой в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. „Читай в слух“ — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.

„Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей“.

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

„Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

„Штаны белые суконные на пять рублей.

„Двенадцать рубах полотняных голандских с манжетами на десять рублей.

„Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною...“

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. „Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...“

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

„Виноват: обмолвился“ — отвечал Савельич. — „Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать“

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

„Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

„Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

„Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей“.

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: „Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Зайчий тулуп! Я-те дам зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?“

10 — Как изволишь, — отвечал Савельич; — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было
20 его бранить за неуместное усердие, и не мог удержаться от смеха. „Смейся, сударь“, — отвечал Савельич; — „смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет“.

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй
30 жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, и по возможности
40 тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной

Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцаловал ее, орошая слезами. „Прощайте“ — говорила мне попадья, провожая меня; — „прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя“.

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился, и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: „Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще“ — примолвил запинаясь урядник — „жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно“. Савельич посмотрел на него косо и проворчал: Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный! — „Что у меня за пазухой-то побрякивает?“ — возразил урядник, нимало не смутясь. — „Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина“. — Добро, — сказал я, — прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку. — „Очень благодарен, ваше благородие“, — отвечал он, поворачивая свою лошадь; — „вечно за вас буду бога молить“. При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верьхом, посадив за собою Савельича. „Вот видишь ли, сударь“, — сказал старик, — „что я не даром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не сто́ят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да всё же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок“.

ГЛАВА X.

ОСАДА ГОРОДА.

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат,
И в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.
Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они
10 работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич, и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных
20 происшедствиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. „Бедный Миронов!“ — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — „Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?“ Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. „Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?“ — Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал
30 покачал головую с видом недоверчивости. „Посмотрим, посмотрим“ — сказал он. — „Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покаместь поди отдохни“.

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: „Теперь, господа“, — продолжал он, — „надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно*, или *оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г. прапорщик!“ — продолжал он, обращаясь ко мне. — „Извольте объяснить нам ваше мнение“.

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: „Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение!“

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: „Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно“.

„Как же так, господин коллежский советник?“ — возразил изумленный генерал. — „Других способов тактика не представляет: движение оборонительное, или наступательное...“

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

„Э-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...“

— И тогда,—прервал таможенный директор,—будь я киргизской баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

„Мы еще об этом подумаем и потолкуем“ — отвечал генерал. — „Однако, надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку“.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности, и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытрехнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

„Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает“.

Тут он остановился, и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

„Но, государи мои“, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму — „я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать“.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских, и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: „Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?"

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.— Здравствуй, Максимыч,— сказал я ему.— Давно ли из Белогорской?

„Недавно, батюшка Петр. Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо".

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

„Со мною“ — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — „Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить“. Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

„Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра, и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч
10 обещал вам его доставить. Палаша слышала так же от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выдти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели
20 сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

30 Марья Миронова“.

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу, и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. — Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как

к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

„Что такое, батюшка?“ — спросил изумленный старик. — „Что я могу для тебя сделать? Говори“.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и пол-сотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

„Как это? Очистить Белогорскую крепость?“ — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

„Нет, молодой человек“, — сказал он качая головою — „На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от комуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная комуникация...“

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. — Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выдти за него замуж.

„Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покаместь надобно взять терпение....

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

„О!“ — возразил генерал. — „Это еще не беда: лучше ей быть покаместь женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица“.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

„Ба, ба, ба, ба!“ — сказал старик. — „Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но всё же я никак не могу дать тебе роту солдат и пол-сотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность“.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей:[1] в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

[1] *В рукописи было:* Вдруг странная мысль мелькнула в голове моей:

ГЛАВА XI.

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА.

> В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
> „Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?“
> Спросил он ласково.
>
> *А. Сумароков.*

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. „Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не
10 равён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого“.

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? „Будет с тебя“ — отвечал он с довольным видом. — „Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки успел утаить“. И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра.[1] — Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость.

„Батюшка Петр Андреич!“ — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — „Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее
20 время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны“.

Но намерение мое было твердо принято. — Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

---

[1] *Далее в рукописи было:*

— Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду из города на несколько дней.

— Куда это? — спросил он с изумлением.

— Куда бы ни было, не твое дело, — отвечал я с нетерпением, — делай что тебе говорят, и не умничай,

— Батюшка Петр Андре<ич>! — сказал добрый дядька *и т. д. (строка 18).*

„Что ты это, сударь?“—прервал меня Савельич.—„Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною? Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану“.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через пол часа я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы 10 выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться.[1] Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: „Потише, сударь, ради бога потише. Про-

[1] *Далее в рукописи было:*

Я направил путь к Бердской слободе, пристанищу Пугачева. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: „Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди. . .“

Вскоре засверкали Бердские огни. Я поехал прямо на них.„Куда, куда ты?— кричал Савельич, догоняя меня,— это горят огни у разбойников. Объедем их пока нас не увидали. Петр Андре<ич> — батюшка Петр Андре<ич>!. . не погуби! Господи владыко. . . пропадет мое дитя!“

Мы подъехали к оврагам,естественным укреплениям слободы.Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Вдруг увидел я прямо перед собой передовой караул.Нас окликали,и человек пять мужиков, вооруженных дубинами, окружили нас. Я объявил им, что еду из Оренбурга к их начальнику. Один из них взялся меня проводить, сел верьхом на башкирскую лошадь и поехал со мною в слободу. Савельич, онемѐв от изумления, кое как поехал вслед за нами.

Мы перебрались через овраг и въехали в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте меня не заметил, и не узнал во мне оренбургского офицера. Вожатый привез меня прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. „Вот и дворец“— сказал он, слезая с лошади,— „сейчас о тебе доложу“. Он вошел в избу. Савельич меня догнал: я взглянул на него; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец вожатый воротился и сказал мне: „Ступай, наш батюшка велел тебя впустить“.

Я сошел с лошади, отдал ее держать Савельичу, а сам вошел в избу, или во дворец, как называл ее мужик. Она освещена была двумя сальными свечами *и т. д. (стр. 347, строка 4).*

клятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди...Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!".

Вскоре засверкали Бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул 10 пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю, и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько 20 минут, и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее, и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. „А наш батюшка"— прибавил он —„волен прика- 30 зать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия". Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. „Вот и дворец"— сказал один из мужиков:— „сейчас об вас доложим". Он вошел в избу. Я взглянул на 40 Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался

долго; наконец мужик воротился и сказал мне: „Ступай: наш батюшка велел впустить офицера“.

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеяны были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке, и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. „А, ваше благородие!“— сказал он мне с живостию.— „Как поживаешь? За чем тебя бог принес?“[1] Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. „А по какому делу?“ спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, пологая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выдти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. „Говори смело при них“— сказал мне Пугачев:—„от них я ничего не таю“. Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников.[2] Не смотря на чувства, исключительно меня волно-

---

[1] *Далее в рукописи следовало:*

Я отвечал, что имею лично до него дело, и что прошу его принять меня наедине. Пугачев обратился к своим товарищам и велел им выдти. Все послушались кроме двух, которые не тронулись с места. *И т. д. (строка 20).*

[2] *Далее в рукописи следовало:*

Не смотря на чувства исключительно меня волновавшие, общество в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение, и я на минуту

вавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом:„ Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?"

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую
10 там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. „Кто из моих людей смеет обижать сироту?"— закричал он.—„Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?"

— Швабрин виноватый,— отвечал я.— Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

„Я проучу Швабрина"— сказал грозно Пугачев.—„Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу".

„Прикажи слово молвить"— сказал Хлопуша хриплым голо-
20 сом.—„Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору".

„Нечего их ни жалеть, ни жаловать!"— сказал старичок в голубой ленте.—„Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную,
30 да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров".

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. „Ась, ваше благоро-

---

позабыл о причине, приведшей меня в пристанище бунтовщиков. Пугачев мне сам напомнил о том своим вопросом: „От кого и зачем ты ко мне послан?"

„Я приехал сам от себя",— отвечал я;—„прибегаю к твоему суду. Жалуюсь на одного из твоих людей, и прошу тебя защитить сироту, которую он обижает".

Глаза у Пугачева засверкали. *И т. д. (строка 11).*

дне?“ — сказал он мне подмигивая. — „Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?“

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.[1]

„Добро“ — сказал Пугачев. — „Теперь скажи, в каком состоянии ваш город“.

— Слава богу, — отвечал я; — всё благополучно.

„Благополучно?“ — повторил Пугачев. — „А народ мрет с голоду!“ 10

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи, и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

„Ты видишь“ — подхватил старичок, — „что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно“.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. 20 К счастию Хлопуша стал противоречить своему товарищу. „Полно, Наумыч“, — сказал он ему. — „Тебе бы всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится.[2] Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?“

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

„Конечно“ — отвечал Хлопуша, — „и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак, и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном 30 лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором“.

Старик отворотился и проворчал слова: „рваные ноздри!“...

---

[1] *В рукописи следовало:*

„Добро“, — сказал Пугачев. — „Дело твое разберем завтра, а теперь скажи, в каком состоянии ваш город“.

— Слава богу, — отвечал я; — всё благополучно. *И т. д. (строка 9).*

[2] *В рукописи следовало:*

Сам в могилу смотришь, а других губишь: офицер к нам волею приехал, а ты уж и вешать его. Разве мало крови на твоей совести?“ *И т. д. (строка 25).*

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покаместь смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

„Господа енаралы!“ — провозгласил важно Пугачев. — „Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь“.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова, и мрачно смотрели
10 друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. „Долг платежом красен“, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — „Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?“

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную
20 перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

„Твоя невеста!“ — закричал Пугачев. — „Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим, и на свадьбе твоей попируем!“ — Потом обращаясь к Белобородову: — „Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем“.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым
30 и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его.[1] Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был

---

[1] *В рукописи следовало:*

Я вышел вместе с ними. Савельич стоял у ворот, держа наших лошадей. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где меня оставили с Савельичем взаперти. Дядька был в таком изумлении *и т. д. (строка 36).*

в таком изумлении при виде всего, что̀ происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте, и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался, и велел мне садиться с ним в кибитку. 10

Мы уселись. „В Белогорскую крепость!"—сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

„Стой! стой!" раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам на встречу. Пугачев велел остановиться. „Батюшка, Петр Андреич!"—кричал дядька. — „Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен..."—А, старый хрыч!— 20 сказал ему Пугачев.—Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок.

„Спасибо, государь, спасибо, отец родной!"—говорил Савельич усаживаясь.—„Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о зайчьем тулупе и упоминать уж не стану".

Этот зайчий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через 30 минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что̀ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть и избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; 40

Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

„О чем, ваше благородие, изволил задуматься?“

— Как не задуматься,—отвечал я ему.—Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

10 „Что ж?“—спросил Пугачев.—„Страшно тебе?“

Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

„И ты прав, ей богу прав!“—сказал самозванец.—„Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился“,—прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,—„помня твой стакан вина и зайчий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья“.

20 Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать, и не отвечал ни слова.

„Что говорят обо мне в Оренбурге?“—спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. „Да!“ — сказал он с веселым видом.—„Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король

30 мог ли бы со мною потягаться?“

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.—Сам как ты думаешь?—сказал я ему,—управился ли бы ты с Фридериком?

„С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву“.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал в пол-голоса: „Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче

40 они свою шею выкупят моею головою“.

— То-то!—сказал я Пугачеву.—Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. „Нет",—отвечал он; —„поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою".

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

„Слушай"—сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— „Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́-все только тридцать три года?—Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!—Какова калмыцкая сказка?"

— Затейлива,—отвечал я ему.—Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней— и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

ГЛАВА XII.

СИРОТА.

> **Как у нашей у яблонки**
> **Ни верхушки нет, ни отросточек;**
> **Как у нашей у княгинюшки**
> **Ни отца нету, ни матери.**
> **Снарядить-то ее некому,**
> **Благословить-то ее некому.**
>
> *Свадебная песня.*

10 Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: „И ты наш? Давно бы так!“—Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как 20 печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку, и сказал ему, указав на меня: „Попотчуй и его благородие“. Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его 30 неожиданно: „Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее“.

Швабрин побледнел как мертвый.—Государь,—сказал он дрожащим голосом...—Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

„Веди ж меня к ней“,—сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. „Государь!“—сказал он.— „Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей“.

Я затрепетал. „Так ты женат!“—сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

„Тише!“—прервал меня Пугачев.—„Это мое дело. А ты“— продолжал он, обращаясь к Швабрину,—„не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною“. 10

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: „Государь предупреждаю вас, что она в белой горячке, и третий день как бредит без умолку“.

— Отворяй!—сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул, и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье 20 сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина, и сказал с горькой усмешкою: „Хорош у тебя лазарет!“—Потом, подошед к Марье Ивановне:— „Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?“

—Мой муж!—повторила она.—Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня 30 не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: „И ты смел меня обманывать!“ сказал он ему. „Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?“

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. „Милую тебя на сей раз“,—сказал он Швабрину;—„но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта“. Потом обратился он к Марьи Ивановне, и сказал ей ласково: „Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь“. 40

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

„Что, ваше благородие?“ сказал смеясь Пугачев. „Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем—и ворота запрем!“

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. „Государь!“—закричал он в исступлении.—„Я виноват, я вам солгал, но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости“.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. „Это что еще?“—спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду,—отвечал я с твердостию.

„Ты мне этого не сказал“—заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди,—отвечал я ему,—можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

„И то правда“—сказал смеясь Пугачев.—„Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их“.

— Слушай,—продолжал я, видя его доброе расположение.— Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. „Ин быть по-твоему!“—сказал он.—„Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!“

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем

уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. „Кто там?“ спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. „Погодите, <Петр Андреич>. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду“.

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. „Здравствуйте, Петр Андреич“,—говорила попадья.—„Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то“.—Полно, старуха,—прервал отец Герасим.—Не всё то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марьи Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. „С нами сила крестная!“—говорила Акулина Памфиловна.—„Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!“—В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Всё было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне всё, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время.. Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять

ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество.—Милая Марья Ивановна!—сказал я наконец.—Я почитаю
10 тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить.—Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцаловались горячо, искренно—и таким образом всё было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракулками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его
20 готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел
30 в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: „Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь“.—Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похоро-
40 ненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня

оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. „Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный!"—говорила добрая попадья.—„Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!" Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом, и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость. 10

ГЛАВА XIII.

АРЕСТ.

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и
10 воображал, что всё со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и придти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

20 Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: „Государев кум со своею хозяюшкою". Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. „Выходи, бесов кум!"—сказал мне усастый вахмистр.—„Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!"

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел
30 меня к маиору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: „Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это всё кончится?" Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вах-

мистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

„Не могу знать, ваше благородие“, — отвечал вахмистр. — „Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!“ 10

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Маиор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

„Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?“

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

„Какую тебе квартиру? Оставайся у меня“. 20

— Не могу: я не один.

„Ну, подавай сюда и товарища“.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

„С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат!“ (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

„Ну“ — продолжал Зурин: — „так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею“. 30

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

„Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?“

— После всё расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении, и приказал 40

вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: „Все это, брат, хорошо; одно не хорошо; зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да няньчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою
10 дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не за чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно".

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на дру-
20 гой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. „Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?"

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию.— Друг ты мой, Архип Савельич!— сказал я ему.— Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней.

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного.
30 „Жениться!"— повторил он.— „Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?"

— Согласятся, верно согласятся,— отвечал я,— когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. „Ох, батюшка ты мой Петр Андреич!"— отвечал он.— „Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и при-
40 даного".

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. „Прощайте, Петр Андреич!“ — сказала она тихим голосом. — „Придется ли нам увидаться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце“. Я ничего не мог отвечать. Люди нас, окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и всё предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении Сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших

в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.[1]

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения разоренные бунтовщиками и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где
10 свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: „Нет, тебе не сдобровать! Женишься — ни за
20 что пропадешь!“

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: Емеля, Емеля! — думал я с досадою;— зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был
30 опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего деньщика, и объявил, что имеет до меня дело.— Что такое?— спросил я с беспокойством. — „Маленькая неприятность“,— отвечал

---

[1] *К этому месту относится „Пропущенная глава“, отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. См. стр. 375—384.*

„Капитанская дочка". Глава XI.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2381, гл. XI, л. 5 об.



он, подавая мне бумагу.— „Прочитай, что̀ сейчас я получил“. Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную Комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. „Делать нечего!“ — сказал Зурин.— „Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся“. Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев — устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо́, и я поехал по большой дороге.

ГЛАВА XIV.

СУД.

Мирская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не
10 в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы, и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города.
20 Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее нàглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной канурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженым железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

30 На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантской дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: „Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!“ Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. „Ты, брат, востер“,— сказал он мне нахмурясь;— „но видали мы и не таких!“

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

„Каким же образом“, возразил мой допросчик, „дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене, или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?“

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера, и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

„На запрос вашего превосходительства косательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении, и вошедшего

в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился, и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...“ Тут он прервал свое чтение, и сказал мне сурово: „Что ты теперь скажешь
10 себе в оправдание?“

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев, и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу
20 меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на пере-
30 стрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца.— Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,— как бы то ни было, имя дочери Белогорского коменданта
40 не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще

более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. 10

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил всё мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию. 20 30

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков к несчастию оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. 40

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. „Как!“ — повторял он, выходя из себя.— „Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми
10 холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..“ Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы
20 Придворного Календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредко капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург, и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. „Зачем тебе в Петербург?“— сказала она.— „Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?“ Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи
30 у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. „Поезжай, матушка!“ — сказал он ей со вздохом.— „Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника“. Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну
40 снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с вер-

ной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером,— словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: „Не бойтесь, она не укусит“. И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

„Вы верно не здешние?“— сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

„Вы приехали с вашими родными?“

— Никак нет-с. Я приехала одна.

„Одна! Но вы так еще молоды".

— У меня нет ни отца, ни матери.

„Вы здесь конечно по каким-нибудь делам?"

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

„Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?"

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

„Позвольте спросить, кто вы таковы?"

10 — Я дочь капитана Миронова.

„Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?"

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. „Извините меня" — сказала она голосом еще более ласковым, — „если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь".

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверен-
20 ность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

„Вы просите за Гринева?" — сказала дама с холодным видом. — „Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный
30 негодяй".

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

„Как неправда!" — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей богу, неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. — „Где вы остановились?" спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила
40 с улыбкою: „А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей

встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо".

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар, и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. 10

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. „Ахти, господи!"— закричала она.—„Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Всё-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?"— Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья 20 Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились на́стежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, 30 что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее, и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: „Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру". 40

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцаловала. Государыня разговорилась с нею. „Знаю, что вы не богаты“— сказала она;— „но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние“.

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии.— В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам.— В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА[1].

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки Пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. — Берегись, сказал он мне. Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые, и приведем в гости к твоим родителям 50 чел<овек> гусар<ов> на всякий случай.

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. — Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. — Погода была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темн<ым> волн<ам>. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. — Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. — Что такое? спросил я, очнувшись. — Не знаем, бог весть, отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я всё еще не мог различить. — Что бы это было, говорили гребцы. Парус не парус, мачты не мачты... — Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла висилица, утвержденная на

---

[1] *Глава эта не включена в окончательную редакцию „Капитанской дочки“ и сохранилась в черновой рукописи, где названа „Пропущенная глава“. В тексте этой главы Гринев называется* Буланиным, *а Зурин* — Гриневым. *(Ср. стр. 364).*

плоту — 3 тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. — Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую висилицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. — Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: *Воры и бунтовщики*. Гребцы [смотрели] равнодушно, и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Висилица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла — и лодка моя прича<ли>ла к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. — На всякой случай я имел в кармане пропуск выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. — Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в**.

Барской дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди улицы — ямщик начал их удерживать. — Что такое, — спросил я с нетерпением. — Застава, барин, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту. — Что это значит? спросил я его, зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь? — Да мы, батюшка, бунтуем, ответил он, почесываясь.

„Капитанская дочка“. Пропущенная глава.

Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2381.

— А где ваши господа? спросил я с сердечным замиранием...

— Господа-то наши где? повторил мужик. Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки — и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо — и сам отодвинул рогатку. — Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу [и] велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика так<же> с дубинами. — Телега остановилась прямо перед ними. — Я выскочил и бросился прямо на них. — Отворяйте двери! сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный <?> молодой мужик вышел из людской избы, и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. — Где Андрюшка земский, закричал я ему. — Кликнуть его ко мне.

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, отвечал он мне, гордо подбочась. Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. — Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны — на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрел<и> на меня с изумлением, — 3 года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. — Петр Андреич! Это вы! Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча — не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой, [говорила] матушка. Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, — но подошед к двери, я нашел ее снова запертою. — Андрюшка, закричал я, отопри! — Как не так, отвечал из-за двери земский. Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить, да за ворот таскать государевых чиновников!

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, сказал мне батюшка, не таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля, и два пистолета — я мог еще выдержать осаду. — Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил всё это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, сказал мне отец, довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился, и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами цаловал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. — Что это значит, сказал отец, уж не твой ли полковник подоспел? — Не возможно, отвечал я. Он не будет прежде вечера. Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: — Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери! — Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай, — сказал я Савельичу, — пошли кого-нибудь верьхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать пол-

ковнику об нашей опасности. — Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют — а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе — до анбара добираются. —

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у са<мой> двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел кур<ки>, и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась и голова земского показалась. — Я ударил по ней саблею и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. — Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, — сказал я женщинам, — есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд. —

Матушка молча молилась богу — Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться попустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот белогорский. Теперь время обедать. Покаместь сиди, да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился, и остав<ил> караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. — Я воображал себе всё, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, ба<тюшка>, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была

вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек! Я не смел остановить<ся> на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. — Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы.— Через несколько минут вспыхнул огонь, и осветил темный анбар — и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала: — Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что,— закричал я с сердцем.— Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу,— отвечала она спокойно.— Но, может быть, я спасу моего избавителя, и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, <Авдотья Васильевна>. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что...— тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна,— сказал мой отец.— Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь, и молчи. Умирать, так умирать уж вместе.

— Слушай — что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? кричал Швабрин. Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей.— И обратись ко мне сказал: „Теперь пора!“

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: „Все за мною“.— [Я схватил] за руки матушку <и> Марью Ивановну и быстро вывел их на

воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним всё наше семейство. Меня поддерживали под руки.— Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно 10 поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев,— и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, [поклонился] батюшке и матушке и крепко пожал мне руку.— Кстати же я подоспел, сказал он нам. А! вот и твоя невеста.— Марья Ивановна 20 покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем.— Милости просим к нам, сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился.— Это кто?— спросил он, глядя на раненого.— Это сам предводитель, начальник шайки,— отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина,— бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына.

— Это Швабрин, сказал я Гриневу. 30

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, всё было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте, и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, 10 вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал во время.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захвати в плен несколько человек.— Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

20 Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно — а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

30 На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барской двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки,— сказал он им,— зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш,— отвечали они в голос.

— То-то виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет.— Виноваты! Конечно, виноваты.— Бог дал вёдро, пора бы сено убрать: а вы, 40 дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно

на сенокос: да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню всё сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям, и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую.— Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет,— кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцаловала меня при всех. — Я сел верьхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не зсе несчастия для меня миновались. Сердце чуло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода — и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам.— Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных.— — Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт — бес<с>мысленный и беспощадный. Те,

которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии.— Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.



‹ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ›

Цезарь путешествовал, мы с Т.<итом> Пет<ронием> следовали за ним издали. По захождении солнца [рабы стави<ли>] шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и весело беседовали; на заре снова пускались в дорогу, и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями. —

Мы достигли Кум и уже думали пускаться далее, как явился к нам посланный от Нерона. — Он принес Петронию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи — в следствии ненавистного обвинения.

Мы были поражены ужасом. — Один Петр.<оний> равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарком и объявил нам свое намерение остановиться в Кумах. — Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисной роще, посвященной Эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил — Долго ли думал он оставаться в Кумах, и не страшится ли раздражить Нерона ослушанием?

— Я не только не думаю ослушаться его, отвечал П<етроний> с улыбкою, но даже намерен предупредить его желания — Но вам, друзья мои, советую возвратиться. — Путник в ясный день отдыхает под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась ударов молнии. —

Мы все изъявили желание с ним остаться и Петроний ласково нас благодарил. — Слуга возвратился — и повел нас в дом уже им выбранный. — Он находился в предместии города. — Им управлял старый отпущенник в отсутствии хозяина, уже давно покинувшего Италию. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях нашли мы кумиры девяти Муз, у дверей стояли два кентавра.

П.<етроний> остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: *Здравствуй!* Печальная улыбка изобразилась на лице его.—Старый управитель повел его в Вивлио-

фику, где осмотрели мы несколько свитков и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. — В ней находились только 2 семейные статуи. — Одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая девочку, играющую [мячем]. На столике подле постели стояла маленькая лампада. — Здесь Петроний остался (на) отдых и нас отпустил, пригласив вечером к нему собраться. —

*

Я не мог уснуть; печаль наполняла мою [душу]. Я видел [в] Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум; я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света <и> людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. — Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. — Но ум его хранил удивительную свежесть. — Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. — Охотно слушал философические рассуждения, и сам писал стихи не хуже Катулла.

Я сошел в сад и долго ходил по излучистым его тропинкам, осененным старыми деревьями. — Я сел на скамейку, под тень широкого тополя, — у которого стояла статуя молодого Сатира, прорезывающего тростник. — Желая развлечь, как-нибудь, печальные мысли, я взял записные дощечки и перевел одну из од Анакреона, которую и сберег в память этого печального дня:

Поседели, поредели
<Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели
И потух огонь очей.
Сладкой жизни мне немного
Провожать осталось дней,
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей. —
Страшен хлад подземна свода,

Вход в него для всех открыт,
Из него же нет исхода...
Всяк сойдет — и там забыт>

---

*

Солнце клонилось к западу; я пошел к Петронию — [Я нашел его в] библиотеке. Он расхаживал — с ним был его домашний лекарь Септимий. Петроний, увидя меня, остановился и произнес шутливо:

<Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам,
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам. 10
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам.>

Ты угадал, отвечал я Петр.<онию> и подал ему свои дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось. Когда читаю подобные стихотворения, сказал он, мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти. — Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему — также как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его?

<Кто из богов мне возвратил 20
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал,
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?
Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит, 30
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!

Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.
— — — — — — — — — — — — —›

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецена́та своею трусостию, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. — [Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании: Красно и сладостно паденье за отчизну —].



⟨МАРЬЯ ШОНИНГ⟩

Анна Г.<арлин> к Марьи Ш.<онинг.>

25 апр.
W.

Милая Марья.

Что с тобою делается? Уж более четырех месяцев не получала я от тебя ни строчки. Здарова ли ты? Кабы [не] всегдашние хлопоты, я бы уж побывала у тебя в гостях; но ты знаешь: 12 миль не шутка. Без меня хозяйство станет; Фриц в нем ничего не смыслит — настоящий ребенок. Уж не вышла ли ты за муж? Нет, верно ты б обо мне вспомнила — и порадовала свою подругу вестию о своем счастии. В последнем письме ты писала, что твой бедный отец всё еще хворает; надеюсь, что весна ему помогла и что теперь ему легче. — О себе скажу, что я, слава богу, здарова и счастлива. Работа идет по маленьку, но я всё еще не умею ни запрашивать, ни торговаться. А надобно будет выучиться. Фриц также довольно здоров, но с некоторых пор деревянная нога начинает его беспокоить. — Он мало ходит, а в ненастное время крехтит да охает. Впрочем, он попрежнему весел; попрежнему любит выпить стакан вина, и всё еще не досказал мне историю о своих походах. Дети ростут и хорошеют. Франк становится молодец. Вообрази, милая Марья, что уж он бегает за девочками, — каков? — а ему нет еще и трех лет А какой забияка! Фриц не может им налюбоваться, и ужасно его балует; вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще его подстрекает, и радуется всем его проказам. Мина гораздо степеннее; правда — она годом старше. — Я начала уж учить ее азбуке. Она очень понятлива и кажется будет хороша собою. Но что в красоте? была бы добра и разумна, — тогда верно будет и счастлива.

P. S. Посылаю тебе в гостинец касынку; обнови ее, милая М.<арья>, в будущее воскресение, когда пойдешь в церковь. Это подарок Фрица; но красный цвет идет более к твоим черным волосам, нежели к моим светлорусым. Мужчины этого не понимают. Им всё равно что голубое, что красное. Прости, милая Марья, я с тобою заболталась. — Отвечай же мне поскорее. Батюшке засвидетельствуй мое искреннее почтение. Напиши мне, каково его здо-

ровье. — Век не забуду, что я провела три года под его кровлею, и что он обходился со мною, бедной сироткою, не как с наемной служанкою — а как с дочерью. Мать нашего пастора советует ему употреблять вместо чаю красный *бедринец*, цветок очень обыкновенный, — я отыскала и латинское его название, — всякой аптекарь тебе укажет его. —

Марья Ш.<онинг> к Анне Г.<арлин.>

28 апреля

Я получила письмо твое в прошлую пятницу, (прочла только сегодня). Бедный отец мой скончался в тот самый день, в шесть часов поутру — вчера были похороны.

Я никак не воображала, чтобы смерть была так близка. Во всё последнее время ему было гораздо легче — и г. Кельц имел надежду на совершенное его выздоровление. В понедельник он даже гулял по нашему садику, и дошел до колодезя не задохнувшись. Возвратясь в комнату, он почувствовал легкой озноб, я уложила его и побежала к г. Кельцу — его не было дома. Возвратясь к отцу, я нашла его в усыплении — я подумала, что сон успокоит его совершенно. — Г. Кельц пришел вечером. — Он осмотрел больного и был недоволен его состоянием. Он прописал ему новое лекарство. Ночью отец проснулся и просил есть — я дала ему супу; он хлебнул одну ложку и более не захотел. Он опять впал в усыпление.— На другой день с ним сделались спазмы. — Г. Кельц от него не отходил. К вечеру боль унялась — но им овладело такое беспокойство, что он пяти минут сряду не мог лежать в одном положении— я должна была поворачивать его с боку на бок.... Перед утром он утих — — и часа два лежал в усыплении. — Г. Кельц вышел, сказав мне, что воротится часа через два. — Вдруг — отец мой приподнялся и позвал меня. — Я к нему подошла и спросила, что ему надобно. Он сказал мне: „Марья, что так темно? — открой ставни“. — Я испугалась; и сказала ему: „Батюшка! разве вы не видите... ставни открыты“. — Он стал искать около себя, схватил меня за руку и сказал: „Марья! Марья, мне очень дурно — я умираю... дай, благословлю тебя — поскорее“. — Я бросилась на колени, и положила его руку себе на голову. — — Он сказал: „Господь, награди ее; — господь, тебе ее поручаю“. — — Он замолк — рука вдруг отяжелела. Я подумала, что он опять заснул, и несколько минут не смела

шевельнуться. Вдруг вошел г. Кельц, снял с моей головы руку его — и сказал мне: „Теперь оставьте его, подите в свою комнату". — Я взглянула: отец лежал бледный и недвижный. — Всё было кончено

Добрый г. Кельц целые два дня не выходил из нашего дома и всё распорядил, потому что я была не в силах. — В последние дни я одна ходила за больным, некому было меня сменить. Часто я вспоминала о тебе и горько сожалела, что тебя с нами не было...

Вчера я встала с постели и пошла было за гробом; но мне стало вдруг дурно. Я стала на колена, чтобы издали с ним прости<ться.> Фрау Ротберх сказала: какая комедиянтка! Вообрази, милая Анна, что слова эти возвратили мне силу. Я пошла за гробом удивительно легко. В церкве, мне казалось, было чрезвычайно светло, и всё кругом меня шаталось. Я не плакала. Мне было душно, и мне всё хотелось смеяться.

Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним не совсем простилась. Но многие еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не сказала опять: какая комедьянка.

Какая жестокость не позволять дочери проститься с мертвым отцом, как ей вздумается. — —

Возвратясь домой, я нашла чужих людей, которые сказали мне, что надобно запечатать всё имение — и бумаги покойного отца. Они оставили мне мою комнатку, только вынесли из нее всё, кроме кровати и одного стула. — Завтра воскресение. — Я не обновлю твоей косынк<и>, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, Франка и <Ми>ни цалую. Прощай.

Пишу стоя у окошка, а чернильницу заняла у соседей.

Марья Ш.<онинг> к Анне Г.<арлин.>

Милая Анна.

Вчера пришел ко мне чиновник и объявил, что всё имение покойного отца моего должно продаваться с публичного торгу, в пользу городовой казны, за то, что он был обложен не по состоянию, и что по описи имения оказался он гораздо богаче, нежели думали. Я тут ничего не понимаю. В последнее время мы очень много тратили на лекарство. У меня всего на расход осталось 23 талера, — я показала их чиновникам, которые однако ж сказали, чтоб я деньги эти взяла себе, — потому что закон их не требует. —

Дом наш будет продаваться на будущей недели; и я не знаю куда мне деться. — Я ходила к г. бургмейстеру, — он принял меня хорошо, но на мои просьбы отвечал, что он ничего не может для меня сделать. Не знаю, куда мне определиться. Если нужна тебе служанка, то напиши мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать в хозяйстве и в рукоделии, а сверх того буду смотреть за детьми, и за Фр<ице>м, если он занеможет. — За больными ходить я научилась. Пожалуйста, напиши, нужна ли я тебе. И не совестись. Я уверена, что отношения наши от того <ни> мало не переменятся и что ты будешь для меня всё та же добрая и снисходительная подруга.

Домик старого Шонинга полон был народу. Толпа теснилась около стола, за которым председательствовал оценщик. Он кричал: „Байковый камзол с медными пуговицами. . .** <талеров>. Раз, — два. . . — Никто более — Байковый камзол** <талеров> — три". Камзол перешел в руки нового своего владельца.

Покупщики осматривали с хулой и любопытством вещи выставленные на торг. Фрау Ротберх рассматривала черное белье, не вымытое после смерти Шонинга; она теребила его, отряхивала, повторяя: дрянь, ветошь, лохмотья, — и надбавляла по грошам. Трактирщик Гирц купил две серебряные ложки, пол-дюжину салфеток и две фарфоровые чашки. Кровать, на которой умер Шонинг, куплена была Каролиной Шмидт, девушкой сильно нарумяненной, виду скромного и смиренного.

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке** талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имела духа перебивать добычу у покупщиков. — — Народ выходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портретика в рамах, замаранных мухами и некогда вызолоченных. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. — На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. — Гирц хотел купить и их, чтобы повесить в угольной комнате своего трахтира, потому что стены были слишком голы. Портреты оценены были в ** <талеров>. Гирц вынул кошелек. В это время Марья превозмогла свою робость и дрожащим голосом надбавила цену. Гирц бросил на нее презрительный взгляд, и начал торговаться. — Мало по малу цена возросла до **. Марья дала наконец **.

Гирц отступился; и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальные спрятала в карман, взяла портреты и вышла из дому, недождавшись конца аукциону.

Когда Марья вышла на улицу с портретом в каждой руке, она остановилась в недоумении: куда ей было идти?. . . .

Молодой человек в золотых очках, подошел к ней и очень вежливо вызвался отнести портреты, куда ей будет угодно. . .

— Я очень вам благодарна. . . я, право, не знаю. — И Марья думала, куда бы ей отнести портреты, покаместь она сама без места. —

10

Молодой человек подождал несколько секунд, и пошел своею дорогою, — а Марья решилась отнести портреты к лекарю Кельцу.



ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ

НАДИНЬКА.

Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое именье поляку Ясунскому, который держал маленькой банк для препровождения времени и важно передергивал подре<зая> карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались веером — и облако стираемого мела мешалось с дымом Турец.<кого> табаку.

— Не уж то два часа ночи? боже мой, как мы засиделись,— сказал Виктор N молодым своим товарищам.— Не пора ли оставить игру?

Все бросили карты, встали изо стола, всякой докуривая трубку [стал] считать свой или чужой выигрыш; поспорили, согласились и разъехались.

— Не хочешь ли вместе отужинать,— спросил Виктор<а> ветреный Вельверов,— [я познакомлю] тебя с очень милой девочкой, ты будешь меня благодарить.

Оба сели на дрожки и полетели по мертвым улицам Петербурга.

<В НАЧАЛЕ 1812 ГОДА...>

В начале 1812 <года> полк наш стоял в небольшом уездном городе, где мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обыкновенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе — по воскресениям танцовали у предводителя. Все мы, т. е. 20 лет<ние> обер офицеры были влюблены, многие из моих товарищей нашли себе подругу на этих вечеринках — и так неудивительно, что каждая безделица, относящаяся к тому времени, для меня памятна и любопытна.

Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его — свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь стройная меланхолическая девушка лет 17, воспитанная на романах и на блан-манже...

<ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА.>

[4 мая 1825 г. произведен я в офицеры, 6<-го> получил повеление отправиться в полк] в местечко В.<асильков> — 9 <-го> выехал из Петербурга.

Давно ли я был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко В.<асильков>, где буду спать до 8 часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова.

В ушах моих всё еще отзывает шум и крики играющих кадетов, и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы — le bluet, le bluet, Василек, amarante амарант, amarante, amarante ..... Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное безмолвие...... Я всё еще не могу привыкнуть к этой тишине.

При мысли о моей свободе, об удов.<ольствиях> пути и приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной радости, доходяще<й> до восторга, наполнило мою душу. Успокоясь мало-по-малу, наблюдал я движение передних колес и делал математические исчисления. Нечувствительным образом сие занятие меня утомило, и путешествие уже казалось мне не [столь] приятным, как с начала.

Приехав на станцию, я отдал кривому смотрителю свою подорожную и потребовал скорее лошадей. Но с неизьяснимым неудовольствием услышал я, что лошадей нет; я заглянул в почтовую книгу: от города * до Петербурга едущий 6<-го> класса чиновник с будущим взял [12] лошадей, генеральша Б. — 8, две тройки пошли с почтою, остальные две лошади взял наш брат прапорщик. На станции стояла одна курьерская тройка, и смотритель не мог ее мне дать. Если паче чаяния наскачет курьер или фельдъегерь и не найдет лошадей, то что с ним тогда будет, беда — он может лишиться места, пойти по миру. Я попытался подкупить его совесть, но он остался неколебим и решительно отвергнул мой двугривенник. Нечего делать! Я покорился необходимости.

Угодно ли чаю или кофею, спросил меня смотритель. Я благодарил, и занялся рассмотрением картин<о>к, украшающих его смиренную обитель. В них изображена история блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и в шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословения и мешок с деньгами. В другой изображено яркими чертами дурное поведение развратного молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами, далее промотавшийся юноша [в] французском кафтане, <и> треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу,— В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, он воспоминает о доме отца своего, где *последний раб* etc. Наконец представлено возвращение его к отцу своему. Добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему на встречу. Блудный сын стоит на коленах — вдали повар убивает упитанного тельца и старший брат с досадой вопрошает о причине таковой радости. Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтоб на досуге перевести.

Проччие картины не имеют рам, и прибиты к стене гвоздиками. Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и том.<у> подоб.<ное>,— и в нравств.<енном> как и художеств.<енном> отношении не стоят внимания образованного человека.

Я сел под окно. Виду ника<ко>го. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой. Кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чам.<оданом> и погребцом.

День жаркой. Ямщики разбрелись. На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки. Против меня старуха сидит перед избою подгорюнившись. Изредко поют петухи. Собаки валяются на солнце, или бродят, высунув язык и опустя хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сторону безо всякой видимой причины.

Какая скука! Иду гулять в поле.— Развалившийся колодец. Около его — мелкая лужица. В ней резвятся желтинькие утята под надзором глупой утки, как балованные дети при мадаме.

Я пошел по большой дороге — справа тощий оземь, слева кустарник и болото. Кругом плоское пространство. Навстречу одни полосатые версты. В небесах медленное солнце, кое-где облако. Какая скука! Иду назад, дошед до 3 версты и удостоверясь, что до следующей станции оставалось еще 22.

Возвр<атясь>, я попытался было завести речь с моим ямщиком, но он как будто избегая порядочного разговора, на вопросы мои отвечал одними: „не можем знать, В.<аше> Бл.<агородие>, а бог знает, а не что̀. . .“

Я сел опять под окном и спросил у толстой работницы, которая бегала поминутно мимо меня то в задние сени, то в чулан — нет ли чего-нибудь почитать. Она принесла мне [несколько книг]. Я обрадовался и кинулся с жадностию их разбирать. Но тотчас я успокоился, увидев затасканную Азбуку и Арифметику, изданную для народных училищ. Сын смотри<теля>, буян лет 9, обучался по ним, как говорила она, всем наукам царским<?>, выдирая затверженные листы, за что по [закону] естественно<го> возмездия дирали его за волосы.

<УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ . . .>

(С французского).

Участь моя решена. Я женюсь...

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством — боже мой — она... почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувство<м> жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — всё это в сравнении с ним ничего не значит.

Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих прият<ей> говаривал: Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа.

Жениться! Легко сказать — большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафорок.

Другие — приданое и степенную жизнь...

Третьи женятся так, потому что все женятся — потому что им 30 лет. Спросите их что такое брак — в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму.

Я женюсь, т. е. я жертвую независимостию, моею беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.

Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии — я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих — а где мне взять его. —

Пока я не женат, что значат мои обязанности? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему — он очень рад; нет — так он извиняет мне: повеса мой молод, ему не до меня. Я ни с кем не в переписке, долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю когда хочу, принимаю кого хочу, вздумаю гулять — мне седлают мою умную, смирную Женни, еду переулками, смотрю в окны низиньких домиков: здесь сидит семейство за самовар<ом>, там слуга мятет комнаты, далее девочка

учится за форте-пиано, подле нее ремесленник музыкант. Она поворачивает ко мне рассеянное лицо — учитель ее бранит — я шагом еду мимо... Приеду домой — разбираю книги, бумаги — привожу в порядок мой туалетный столик — одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман или журналы — если ж В<альтер> Ск<отт> и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса — то требую бутылки шампанского во льду — смотрю как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь что обед стоит мне 17ть рублей, и что могу позволять себе эту шалость. Еду в театр — отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение — я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и всё и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно — засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду верьхом — переулками, мимо дома где девочка играла на форте-пьяно. Она твердит на форте-пьяно вчерашний урок. Она взглянула на меня как на знакомого и засмеялась. — Вот моя холостая жизнь....

Если мне откажут, думал я, поеду в чужие краи, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чамоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся — морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег — Mu native land, adieu. Подле меня, молодую женщину начинает тошнить — это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды — слава богу, до Кронштата есть для меня занятие....

В эту минуту подали мне записку: ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе.... Нет сомнения, предложение мое принято. Надинька, мой ангел — она моя!..... Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслию. Бросаюсь в карету, скачу — вот их дом — вхожу в переднюю — уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце; говорят о моей любви на своем холопском языке!....

Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку — она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая чудотворца и Казанской богоматери. Нас

благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревни — и я жених.

Итак уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра — площадная.—

Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

Все радуются моему счастию, все поздравляют, все полюбили меня. Всякой предлагает мне свои услуги — кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями. Иной беспокоится о многочисленности будущего моего семейства, и предлагает мне 12 дюжин перчаток с портретом Mlle Зонтаг.

Молодые люди начинают со мной чиниться — уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте — „Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный. . . .“

Признаюсь, это начинает мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древнего народа: жених тайно похищал свою невесту. На другой день представлял уже он ее городским сплетницам, как свою супругу. У нас приуготовляют к семейственному счастию печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода . . .

„Часто думал я об этом ужасном семейственном романе“

Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 256.

ОТРЫВОК.

Не смотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться кроме права ставить винит.<ельный> вместо родит.<ельного> падежа после частицы *не* и кой-каких еще т.<ак> наз.<ываемых> стих.<отворческих> вольностей мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, не смотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Не говорю о их обыкновенном гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу; о зависти и клевете братьи, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся — но что кажется может сравниться с несчастием для них неизбежимым; разумеем суждения глупцов? Однако же и сие горе, как оно ни велико, не есть крайним еще для них. — Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотв.<орца> — есть его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое никогда его не покидает. — Публика смотрит на него как на свою собственность, считает себя в праве требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия, и дышет для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне — при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? — Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников — публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека — тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно изволите сочинять. — Влюбится ли он? — красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле или просто для развлечения от трудов? — сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалост-

ным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством. Каковы же должны быть невзгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости, и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался на скоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели 2, 3 — много месяц, и случалось единожды в год всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастие. Остальное время года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбежимый вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения (см. выше), что называл он в своем энергическом просторечии — подслушивать у кабака, что говорят об нас холопья.

Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3<мя> строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3<мя> звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он подымая нос уверял, что никогда не женится или возьмет за себя княжну рюриковой крови, именно одну из княжен Елецких, коих отцы и братьи, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг со другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: „Бог помочь, князь Антип [Кузмич], а сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?“ — Спасибо, князь Ерема Авдеевич... — Кроме сей маленькой слабости, которую впрочем относим мы к желанию подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо

свои стихотворения, приятель мой был un homme tout rond, человек совершенно круглый, как говорят французы, homo quadratus, человек четвероугольный, по выражению латинскому — по нашему очень хороший человек.

Он не любил общества своей братьи литераторов, кроме весьма, весьма немногих. Он находил в них слишком много притязаний у одних на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у 4-<ых> на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и проч. и проч. Иные казались ему скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу, — вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров об литературе и от известного вопроса: не написали ли чего-нибудь новенького?

Мы распространились о нашем приятеле по двум причинам: во-первых, потому что он есть единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться,— во-вторых — что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана нами от него.

Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной.— Мы не хотели его уничтожить...

‹РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ.›

В одно из первых чисел апреля 181... года, в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настичь; зала и передняя загромождены сундуками и чамоданами; ящики всех комод<ов> выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, принесенные ей толстым управителем, который стоял перед нею с руками за спиной, и выдвинув правую ногу вперед. Катерина Петровна показывала вид, будто бы хозяйственные тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредко едва заметную улыбку на величавом лице управителя, который однако ж с большою снисходительностию подробно входил во все требуемые объяснения. В это время слуга доложил что Парасковья Ивановна Поводова приехала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать свои совещания, велела просить и отпустила управителя.

— Помилуй, мать моя, сказала вошедшая старая дама,— да ты собираешься в дорогу! куда тебя бог несет?

— На Кавказ, милая Парасковья Ивановна.

— На Кавказ! стало быть Москва в первой от роду правду сказала — а я не верила. На Кавказ! да ведь это ужесть как далеко. Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем.

— Как быть? Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю — авось Кавказ поможет.

— Дай-то бог. А скоро ли едешь?

— Дня через четыре, много, много промешкаю неделю — всё уж готово. Вчера привезли мне новую дорожную карету — что за карета! игрушка, заглядение — вся в ящиках, и чего тут нет — постеля, туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз — хочешь ли посмотреть?

— Изволь мать моя.— <И> обе дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули из сарая дорожную карету. Катерина Петровна велела открыть дверцы, вошла в карету, перерыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, все удобности, приподняла все ставни, все зеркала, выворотила все сумки, словом, для больной женщины оказалась очень деятельной и проворной. Полюбова[вшись] экипажем, обе дамы возвратились в гостиную, где разговорились опять о предстоящем пути, о возвращении, о планах на будущую зиму.

— В октябре месяце,— сказала Катерина Петровна — надеюсь непременно воротиться. У меня будут вечера, два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко мне перенесешь свой бостон.

В эту минуту девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату, подошла к руке Катерины Петровны [и] присела Поводовой.

— Хорошо ли ты спала, Маша? — спросила Катерина Петровна.

— Хорошо, маменька, сейчас только встала. Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Ивановна? Что делать — больной простительно.

— Спи, мать моя, спи себе на здоровье,— отвечала Поводова,— да смотри: воротись у меня с Кавказа, румяная, здоровая, а бог даст — и замужняя.

— Как замужняя? — возразила Катерина Петровна смеясь,— да за кого выдти ей на Кавказе? разве за Черкесского князя?...

— За черкеса! сохрани ее бог! да ведь они что турки да бухарцы — нехристы. Они ее забреют да запрут.

— Пошли нам бог только здоровья,— сказала со вздохом Катерина Петровна,— а женихи не уйдут. Слава богу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет.

— А с приданым всё-таки лучше, мать моя,— сказала Парасковья Ивановна вставая.— Ну, простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября не увижу; далеко мне до тебя тащиться, с Басманной на Арбат — и тебя не прошу, знаю что тебе теперь некогда — прощай и ты, красавица, не забудь же моего совета.

Дамы распростились, и Парасковья Ивановна уехала.

<ЧАСТО ДУМАЛ Я...>

Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверч<ивое> ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу — — и остается неподвижен —. — —

<РУССКИЙ ПЕЛАМ.>

ГЛ<АВА> I.

Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества, и вот сцена, которая [живо сохранилась в моем воображении.]

Нянька приносит меня в большую комнату, слабо освещенную [свечею под зонтиком]. На постеле под зелеными зановесами лежит женщина вся в белом; отец мой берет меня на руки. Она цалует меня и плачет. Отец мой рыдает громко — [я пугаюсь — и кричу] Няня меня выносит говоря: „Мама хочет бай бай“. Помню также большую суматоху, множество гостей, люди бегают из комнаты в комнату. Солнце светит во все окошки — и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня; в двери выносят длинный красный гроб. Вот всё что похороны матери оставили у меня в сердце. Она была женщиною необыкновенной по уму и сердцу, как узнал я после по рассказам людей, не знавших ей цены.

Тут воспоминания мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный отчет о себе не прежде как уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде должен я поговорить о моем семействе.

Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до 18 лет. Учитель его, M Декор<?>, был простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец мой кроме фр.<анцузской> орфографии кажется ничего основательно не знал. Он женился против воли своих родителей, на девушке, которая была старее его несколькими годами, — в тот же год вышел в отставку и уехал в Москву. Старый Савельич, его камердинер, сказывал мне, что первые года супружества были счастливы. Мать моя успела примирить мужа с его семейством, в котором ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характер отца моего не позволил ей насладиться спокойствием и счастием. Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотою и любовными похождениями. Она для него развелась с своим

мужем, который уступил ее отцу моему за 10000, и потом обедывал у нас довольно часто. Мать моя знала всё и молчала. Душевные страдания расстроили ее здаровие. Она слегла и уже не встала.

Отец имел 5000 душ. Следственно был из тех дворян, которых покойный гр. Ш.<ереметев> называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! — Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Ш.<ереметева>, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр, и роговую музыку. Года два после смерти матери моей Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась в его доме. Она была, как говорится, видная баба, впрочем уже не в первом цвете молодости. Мне подвели мальчика в красной курточке с манжетами, и сказали, что он мне братец. Я смотрел на <н>его во все глаза. Мишинька шаркнул на право, шаркнул на лево -- и хотел поиграть моим ружьецом; я вырвал игрушку из его рук, Мишинька заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив братцу мое ружье.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. И в самом деле, пребывание мое под отеческою кровлею не оставило ничего приятного в моем воображении. Отец конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек не глупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку, за то что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверхь того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом, или лошадей по воскресениям; сверхь того им платили очень не исправно. Виноватым остался я: Анна Петровна решила, что не один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкою. Впрочем и то правда, что не было из них ни одного, которого бы в две недели по его вступлению в должность не обратил я в домашнего шута; с особенным удовольствием воспоминаю о [мосье Гроже, пятидесятилетнем почтенном женевце], которого уверил я, что Анна Петровна была в него влюблена. Надобно было видеть его целомудренный ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, когда

Анна Петровна косо поглядывала на него за столом говоря в полголоса: „экой обжора!“

Я был резов, ленив и вспыльчив, но чувствителен и честолюбив, и лаской от меня можно было добиться всего; к несчастию всякой вмешивал<ся> в мое воспитание и никто не умел за меня взяться. Над учителями я смеялся и проказил; с Анной Петровной бранился зуб за зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры и драки. С отцом доходило часто дело до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами. Наконец Анна Петровна уговорила его отослать меня в один из немецких Университетов... 10
Мне тогда было 15 лет.

<ГЛАВА II.>

Университетская жизнь моя оставила мне приятные воспоминания которые, если их разобрать, относятся к происшедствиям ничтожным, иногда и не приятным; но молодость великий чародей: дорого бы я дал, чтоб опять сидеть за кружкою пива в облаках табачного дыма, с дубиною в руках, и <в> засаленной бархатной фуражке на голове. Дорого бы я дал за мою комнату вечно полную народу, и бог знает какого народу; за наши латинские песни, студенческие поединки и ссоры с филистрами! — 20

Вольное университетское учение принесло мне более пользы чем домашние уроки — но вообще выучился я порядочно только фехтованию, и деланию пунша. Из дому получал я деньги в разные не положенные сроки. Это приучило меня к долгам и к беспечности. Прошло 3 года и я получил от отца из Петербурга приказание оставить университет и ехать в Россию — служить. Несколько слов о расстроенном состоянии, о лишних расходах, о перемене жизни показались мне странными, но я не обратил на них большого внимания. При отъезде моем дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству, и никогда не 30
принимать должности Ценсора — и на другой день с головной болью и с изгагою отправился в дорогу.

<В 179* ГОДУ ВОЗВРАЩАЛСЯ Я...>

В 179* <году> возвращался я в Лифляндию, с веселою мыслию обнять мою старушку мать после четырехлетней разлуки. Чем более приближался я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня нетерпение. Я погонял почтаря, хладнокровного моего единоземца, и душевно жалел о русских ямщиках и об удалой русской езде. К умножению досады, бричка моя сломалась. Я принужден был остановиться. К счастию станция была недалеко.

Я пошел пешком в деревню, чтоб выслать людей к бедной моей бричке. Это было в конце лета. Солнце садилось. С одной стороны дороги простирались распаханные поля, с другой — луга, поросшие мелким кустарником. Издали слышалась печальная песня молодой эстонки. Вдруг в общей тишине раздался явственно пушечный выстрел... и замер без отзыва. Я удивился. В соседстве не находилось ни одной крепости; каким же образом пушечный выстрел мог быть услышан в этой мирной стороне? Я решил, что, вероятно, где-нибудь по близости находился лагерь, и воображение перенесло меня на минуту к занятиям военной жизни, мною только что покинутой.

Подходя к деревне, увидел я в стороне господский домик. На балконе сидели две дамы. Проходя мимо их, я поклонился — и отправился на почтовый двор.

Едва успел я справиться с ленивыми кузнецами, как явился ко мне старичок, отставной русский салдат, и от имени барыни позвал меня откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господский двор.

Дорогой узнал я от салдата, что старую барыню зовут Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ее Екатерина Ивановна — уже в невестах, что обе такие добрые, и проч....

В 179* <году> мне было ровно 23 года, и мысль о *молодой барыне* была достаточна, чтоб возбудить во мне живое любопытство.

Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнав мою фамилию Каролина Ивановна сочлась со мною свойством, и я узнал в ней

вдову фон В., дальнего нам родственника, храброго ген<ерала> убитого в 1772 году.

Между тем как я по видимому со вниманием вслушивался <в> генеалогические исслед<ования> доброй Каролины Ивановны, я украдкою посматривал на ее милую дочь, которая разливала чай, и мазала свежее, янтарное масло на ломтики домашнего хлеба. 18 лет, круглое румяное лицо, темные, узенькие брови, свежий ротик и голубые глаза — вполне оправдывали мои ожидания. Мы скоро познакомились, и на третей чашке чаю уже обходился я с нею, как с кузиною. Между тем бричку мою привезли; Иван пришел мне доложить, что она не прежде готова будет, как на другой день утром. Это известие меня вовсе не огорчило, и по приглашению Каролины Ивановны я остался ночевать.

<МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ...>

Мы проводили вечер на даче у княгини Д.

Разговор коснулся как-то до Mde de Staël. Барон Д** на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту — Кого почитает он первою женщиною в свете? — и забавный его ответ: Ту, которая народила более детей. Celle qui a fait le plus d'enfants.

— Какая славная эпиграмма! заметил один из гостей.

— И поделом ей! сказала одна дама. Как можно так неловко напрашиваться на комплименты?

— А мне так кажется, сказал Сорохтин, дремавший в Рамсовых креслах, мне так кажется, что ни Mde de Staël не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала <вопрос> из единого любопытства, очень понятного; а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию Гениев.

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять.

— Однако в самом деле, сказала хозяйка, кого почитаете вы первою женщиною в свете?

— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплименты...

— Нет, шутки в сторону...

Тут пошли толки: иные назвали Mde de Staël, другие Орлеанскую Деву, третья Елисавету, английскую королеву, Mde de Maintenon, Mde Roland и проч....

Молодой человек, стоявший у камина (потому что в Петербурге камин никогда не лишнее), в первый раз вмешался в разговор.

— Для меня, сказал он, женщина самая удивительная — Клеопатра.

— Клеопатра? сказали гости, да, конечно... однако, почему ж?

— Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре.

— Что ж это за черта? спросила хозяйка, расскажите.

— Не могу; мудрено рассказать.

— А что? разве неблагопристойно.

— Да, как почти всё, что живо рисует ужасные нравы древности.

— Ах! расскажите, расскажите.

— Ах, нет, не рассказывайте, прервала Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно огненные свои глаза.

— Полно-те, вскричала хозяйка с нетерпением. Qui est-ce donc que l'on trompe ici? Вчера мы смотрели Anthony, а вон там у меня на камине валяется La Physiologie du mariage. Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, Алексей Иваныч! Вы не журналист. Расскажите просто, что знаете про Клеопатру — однако.... будьте благопристойны, если можно. —

Все засмеялись. Ей-богу, сказал молодой человек, я робею: я стал стыдлив, как ценсура. Ну так и быть....

Надобно знать что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали.

— Aurelius Victor? — прервал [Вершнев], который учился некогда у езуитов, Аврелий Виктор, писатель IV^{го} столетия. Сочинения его приписываются Корнелию Непоту, и даже Светонию; он написал книгу de Viris illustri<bus> — о знаменитых Мужах Города Рима, знаю...

— То́чно так, продолжал Алексей Иваныч, книжонка его довольно ничтожна, но в ней находится то сказание о Клеопатре, котор<ое> так меня поразило. И — что замечательно, в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту: *Haec tantae libidinis fuit, ut saepe prostiterit; tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint*....

— Прекрасно! воскликнул В.<ершнев.> Это напоминает мне Саллюстия — помните? Tantae...

— Что же это, господа? сказала хозяйка, уж вы изволите разговаривать по латыни! Как это для нас весело! Скажите, что значит ваша латинская фраза?

— Дело в том, что Клеопатра торговала своею красотою, и что многие купили ее ночи ценою своей жизни....

— Какой ужас! возразили дамы, что же вы тут нашли удивительного?

— Как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево. Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил.

— И хорошо сделал.

— Что ж из этого хотел он извлечь? Какая тут главная идея — не помните ли?

— Он начинает описанием пиршества [в] садах царицы Египетской.

Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальный Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы.

Светлы и шумны чертоги Птоломеевы: Клеопатра угощает своих друзей; стол обставлен костяными ложами; три ста юношей служат гостям, три ста дев разносят им амфоры, полные греческих вин; три ста черных Эвнухов надзирают над ними безмолвно.

Порфирная колонада, открытая с юга и севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим — огненные языки светильников горят недвижно; дым курильниц возносится прямо недвижною струею; море, как зеркало, лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые Сфинксы в нем отразили свои золоченые когти и гранитные хвосты... только звуки кифары <и> флей<ты> потрясают огни, воздух и море.

Вдруг царица задумалась — и грустно поникла дивною головою; светлый пир омрачился ее грустию, как солнце омрачается облаком.

О чем она грустит?

Зачем печаль ее гнетет?
Чего еще не достает
Египта древнего Царице?
В своей блистательной столице
Толпой рабов охранена
Спокойно властвует она.
Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги.
Горит ли Африканский день,
Свежеет ли ночная тень,

Всечасно роскошь и искусства
Ей тешат дремлющие чувства,
Все земли, волны всех морей
Как дань несут наряды ей,
Она беспечно их меняет,
То в блеске яхонтов сияет,
То избирает Тирских жен
Покров и пурпурный хитон,
То по водам седого Нила
Под тенью пышного ветрила 10
В своей триреме золотой
Плывет킈придою младой.
Всечасно пред ее глазами
Пиры сменяются пирами,
И кто постиг в душе своей
Все таинства ее ночей?. . . . . .

Вотще! в ней сердце томно страждет
Оно утех безвестных жаждет —
Утомлена, пресыщена,
Больна бесчувствием она 20

[Клеопатра пробуждается от задумчивости.]

И пир утих и будто дремлет,
Но вновь она чело подъемлет,
Надменный взор ее горит,
Она с улыбкой говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Внемлите ж вы моим словам;
Могу забыть я неравенство,
[Возможно] счастье будет вам —
[Я вызываю —] кто приступит? 30
Свои я ночи продаю —
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

<. . . . . >

— Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переде<ла>ла бы на нынешние нравы.

— Невозможно. Не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний. Таковой торг нынче несбыточен, как сооружение Пирамид.

— Отчего же не сбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того что твердят ей поминутно — что любовь ее была бы дороже им жизни.

— Положим, это и любопытно было бы узнать. Но каким образом можно сделать это ученое испытание? —Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников своих расплатиться. А мы? — Конечно: ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаги и засвидетельствовать в Гражданской Палате.

— Можно в таком случае положиться *на честное слово.*

— Как это?

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой <день> он застрелится.

— А он на другой день уедет в чужие края — а она останется в дурах.

— Да — если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит. — Да и самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастия купить? Посудите сами: первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю — я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве? Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения ее истощены?

— Неужели вы в состоянии заключить такое условие?...

В эту минуту <Вольская>, которая во всё время сидела, молча опустив глаза, быстро устремила их на <Алексея Иваныча.>

— Я про себя не говорю. Но человек, истинно влюбленный, конечно не усумнится ни на одну минуту...

— Как! даже для такой женщины, которая бы вас не любила? (А та, которая согласилась бы на ваше предложение, уж верно б вас не любила) — Одна мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть.....

— Нет — я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви... то я ее не требую — если я люблю, какое тебе дело?....

— Перестаньте — бог знает, что вы говорите. — Так вот чего вы не хотели рассказать —

<. . . . .>

Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, постаралась придать важное выраженье своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала:

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя подороже...

Муж ее, польский [граф,] женившийся по расчету (говорят, ошибочному), потупил глаза и выпил свою чашку чаю.

— Что вы под этим разумеете, графиня? спросил [молодой человек,] с трудом удерживая улыбку.

— Я разумею, — отвечала гр.<афиня> К., — что женщина, которая уважает себя, которая уважает... Тут она запуталась; В<ершнев> подоспел ей на помощь.

— Вы думаете, что женщ<ина,> которая себя уважает, не хочет смерти грешнику — не так ли?

<. . . . .>

Разговор переменился.

А.<лексей Иваныч> сел подле <Вольской,> — наклонился, будто рассматривал ее работу, и сказал ей в полголоса: — Что вы думаете об условии Клеопатры?

<Вольская> молчала. — <Алексей Иваныч> повторил свой вопрос.

— Что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя ценит. Но мужчины 19 столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия.

— Вы думаете, — сказал <Алексей Иваныч> голосом, вдруг изменившимся, — вы думаете что в наше время, в П.<етер>Б.<урге>, здесь — найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной — — чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?..

— Думаю — даже уверена.

— Вы не обманываете меня? Подумайте — это было бы слишком жестоко — более жестоко, нежели самое условие...

<Вольская> взглянула на него огненными пронзительными глазами и произнесла твердым голосом: *Нет*.

<Алексей Иваныч> встал, и тотчас исчез.



ПЛАНЫ
НЕНАПИСАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ



<КАРТЫ; ПРОДАН . . .>[1]

<. . . . . . .> карты; продан; женат — дядька.
<. . . . .> солдатство — [делается офицером в]

<ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС.>

Москва в 1811[2] году —

Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая — два приятеля к ним ходят. Один развратный; другой В.<любленный> б.<ес>. В.<любленный> б.<ес> любит меньшую и хочет погубить молодого человека — Он достает ему деньги, водит его повсюду — [*бордель*]. *Наст.<асья>* — вдова ч.<ертовка> <?> Ночь. Извозчик. Молод.<ой> челов.<ек>. Ссорится с ним — старшая дочь сходит с ума от любви к В.<любленному> б. <есу>.

<Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ . . .>

Н. избирает[3] себе в наперсники Н<евский> Проспект[4] — он доверяет ему все свои домашние беспокойства, все семейственные огорчения.[5] — Об нем жалеют — Он доволен.

---

[1] *Листок слева сверху оборван; текст плана сохранился не полностью.*
[2] в 1810
[3] Н. бере<т>
[4] весь Н<евский> Проспект.
[5] семейственные тайны.

<ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦЕ.>

1.

1) Стрелец сын ст.<арого> раск.<ольника> видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной девушкой[1] — сватает через мамушку-раскольницу — получает отказ —

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе переманить — он рассказывает ей каким образом узнал он о заговоре — —

С.<офья> О чем же ты был печален? — Об отказе —

— Я сваха — Но будь же etc.

2.

[Софья сва<ха>]

Софья во дворце.[2]

Нищие, скоморох

Скоморох и ст.<арый> раскольник

Молодой стрелец. Заговор[3]

3.

Стрелец влюбляется в Ржевскую, сватается, получает отказ — он становится уныл — товарищ открывает ему заговор...[4] Он объявляет обо всем правительнице, Софья принимает его как заговорщика, объяснение. — —[5] Софья сваха, комедия у боярина.[6] Бунт стрелецкой, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь —[7] Ржевская за мужем

---

[1] *Далее зачеркнуто:* — М<амушка>

[2] Софья в монастыре *Справа в орнаментальном рисунке (платье и ножка)*: Комедия. *Может быть, это было заглавие наброска.*

[3] Скоморох и раскольник. Стрелец и молодой жених

[4] получает отказ — Товарищ его принимает [его] в заговор

[5] *а.* Софья хвалит его и посылает прямо под арест. *б.* Софья принимает его как заговорщика, объяснение, арест.

[6] Комедия у боярина. Ржевская замужем. *Начиная от* Он объявляет *приписано.*

[7] *а.* выдает за него дочь (другую). Обед у тестя, бедная родственница. Комедия у боярина. *б.* обещает выдать за него дочь. Мать торопится и выдает ее за боярина. *в.* обещает выдать за него дочь. Мать торопится и выдает ее за думного дворянина.

4.

Стре<лец> влюбленный в боярскую дочь — отказ — приходит к другу заговорщику — вступает в заговор —

5.

Сын казненн.<ого> стрельца воспитан вдовою[1] вместе с ее сыном и дочерью;[2] он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему П.<етр> поручает свое письмо —

Приказч<ик>[3] вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего, и отдан в солдаты. Стрел.<ецкий сын> посещает его семейство[4] и у П.<етра> выпрашивает прощение молодому <барину>.[5] 10

<КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ В ГУБЕРНИЮ...>

Криспин[6] приезжает в Губернию *N3* на ярмонку[7] — его принимают за *<нрзб.>*... Губерн.<атор> честной дурак — Губ.<ернаторша> с ним кокетнич.<ает>[8] — Криспин сватается за дочь.

<LES DEUX DANSEUSES.>

Les deux danseuses — Un ballet de Didlot en 1819. — Zavad.<ovsky>. Un amant au paradis[9] — Scène de coulisse — duel — Ist.<omine> est à la mode. Elle est entretenue, elle se marie — Sa sœur est dans la détresse — elle épouse le souffleur. Ist.<omine> dans le monde. On ne l'y reçoit pas. Elle reçoit chez elle — dégoûts — elle va voir sa compagne — 20

---

[1] Сын стрельца воспитан у

[2] и дочерью *вписано.*

[3] *Над словом* приказч<ик> *надписано и подчеркнуто*: Сосед?

[4] посещает ее. *Далее начато*: офи<цер>

[5] *Под текстом*: 5508 / 1654

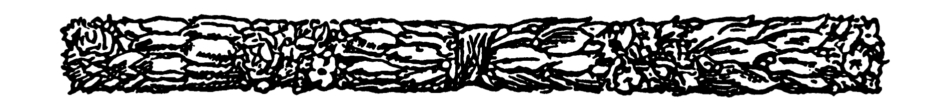
[6] *Начато*: Свиньин.

[7] *N3* на ярмонку *вписано.*

[8] Губ.<ернаторша> с ним кокетнич.<ает> *вписано.*

[9] Un amant au paradis *вписано.*





ПУТЕШЕСТВИЯ



ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К Д.



Из Азии переехали мы в Европу* на корабле. Я тотчас отправился на так называемую *Митридатову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы.... „Вот Чатырдаг“, сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль оста- 10 новился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; с права огромный Аю-даг..... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и воздух полуденный.....

В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностию неаполитанского Lazzarono. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался 20 целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По Горной Лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно, и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый 30

* Из Тамани в Керчь.

предмет, поразивший меня, была берёза, северная берёза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
10 Я верю: здесь был грозный храм
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
20 Своим созданьем возгордилось.
. . . .
Ч — <адаев>, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
30 Пишу я наши имена.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище,

но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался.

Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души 10 нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?

Письмо к Дельвигу А. П. 1824 1.

Путешествiе по Тавриде прочелъ я съ чрез-
вычайнымъ удовольствiемъ. Я былъ на
полуостровѣ въ тотъ-же годъ и почти
въ то-же время какъ и И. М. Очень
жалѣю что мы не встрѣтились. Оставя
въ сторонѣ отступленiя съ извиненiемъ;
для повѣрки оныхъ потребно обширное
свѣденiе самаго Автора, но знаешь-ли
что болѣе всего поразило меня въ этой
книгѣ? различiе нашихъ впечатлѣнiй.
посуди самъ.

Изъ Азiи переѣхали мы въ Европу (+) на
кораблѣ. Я тотчасъ отправился на такъ
называемую Митридатову гробницу (разва-
лины какой-то башни); тамъ сорвалъ цвѣтокъ
для памяти и на другой день потерялъ безъ
всякаго сожалѣнiя. Развалины Пан-
тикапеи не сильнѣе подѣйствовали на мое вообра-

(+) Изъ Тамани въ Керчь.

„Отрывок из письма Д.“ Беловая рукопись.
Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 249, л. 1.



ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français. Автор, по своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin non le sujet d'un poème, mais celui d'une satyre.

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход. 10

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze... le Prince Arménien Beboutof... le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin—M. Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes. 20

Признаюсь: эти строки французского путешественника, не смотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал Сераскира от Осман-Паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение 30

одних суток, быстрый поход к Арзруму, всё это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток): но я устыдился бы писать сатиры на прославленного Полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве Сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обви-
10 нение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд чрез снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

... Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; за то увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка не приятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтической портрет писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он повидимому нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл гр<афа> Эриванского графом Ерихонским. „Пускай нападет он“, говорил Ермолов, „на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу начальствовавшего в Шумле — и Паскевич пропал“. Я передал Ермолову слова гр. Толстова, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. „Можно было бы сберечь людей и издержки“, сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он

желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore. Немцам досталось. „Лет через 50“, сказал он, „подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами“. Я пробыл у него часа 2. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков: но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковской университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз каляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркаске нашел я графа П<ушкина>, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет бо́льшую силу растительности; показываются птицы неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила куря табак. Я сел подле нее. „Как тебя зовут?“—***.—„Сколько тебе лет?“—„Десять и восемь“.—„Что ты шьешь?“—„Портка“.—„Кому?“—„Себя“.—Она подала мне свою трубку и стала завтракать.

В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочик сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки — и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость.....

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды, и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось милионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сиживал со мною А. Р<аевский>, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю и приезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день и на третье утро в 9 часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состояв-

ший из 500 человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Всё это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только 10 15 верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб, выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа 20 Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда 30 главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого 40 в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы,

еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирны́х* черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на козаков, никогда на пехоту 10 и бегут завидя пушку. За то никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят 20 сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые, за одно слово, вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирно́го черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением 30 нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец, схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Кап-кая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал 40

на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке.

> ... like a warrior taking his rest
> With his martial cloak around him;

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж, при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят, и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие, и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем у́же становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело́ тянулись около черных вершин. Граф П<ушкин> и Ш<ернваль>, смотря на Терек, воспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: *не останавливайтесь, в.<аше> б.<лагородие>, убьют!* Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода, они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то за̀мка: они облеплены саклями мирны̀х осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верьхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, воспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список *Кавказского Пленника* и признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Ш<ереметева> <?>, по возвращении его из Парижа: „Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!“

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембранда. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что

в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

10 Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек, переехали мы через *бешеную Балку*, овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух, и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек, и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так 20 называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как, некогда, плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что 30 дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, *подпирающую небосклон*.

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покаместь экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! 40 „Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство

наше будет непродолжительно и проч.“ Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон, и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе** и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякой случай, я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Ч<иляеву>, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать, в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики, и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую, венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верьхом до Тифлиса. Граф П<ушкин> не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Ог<аревым>, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту, и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как чрез два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. „Это обвал“, сказал мне г. Ог<арев>. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его

---

* Так называются персидские шапки.

повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу, и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей, и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога, и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,— и всё это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Ч<иляева>. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов, я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому, и навьюченных по азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком не дождавшись лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи, на принца напали горцы. Услыша свист пуль Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские бывшие при нем удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось

не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.—

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь всё выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город не далеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему, и потребовал за то с меня *абаз*.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал во-первых комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых стакана вина, в-третьих абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения *de la liberté grande*. К счастию нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. По утру явился ко мне мой человек и объявил. что граф П<ушкин> благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф П<ушкин> и Ш<ернваль> посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные Тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишенев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верьхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же увидел? Более пятидесяти женщин молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках расставленных около стен. Я остановился. „Пойдем, пойдем“, сказал мне хозяин, „сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда“.— „Конечно не беда“,— отвечал я ему,—„напротив“. Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою*; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны, и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks

Lalla Rookh

За то не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиятские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бёдрам и пляшут по спине в присядку, *e sempre bene*). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бани: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря, Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Р<аевского>, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель, и познакомился с тамошним обществом. С<анковский>, издатель Тифлисских Ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о к<нязе> Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. С<анковский> любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20.000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 <г.> Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают бо̀льшей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она кажется сложена в новейшее время; в ней есть

какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа созданная для моего счастия! от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, Весна цветущая, от тебя, Луна двунедельная, от тебя, Ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росою! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза, и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун тайно отрыв таковой кувшин, упал в него, и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры, в долине окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров, и раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, не смотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название *(Тбилис-калар)* значит Жаркий Город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Гр<аф> С<амойлов> и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая на двое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне; в 1825 году было их здесь до 2.500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1.500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассесорским,

толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал С<ипягин>, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские, и лечатся одинаково.

Жители пьют Курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через пол-часа, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Всё прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию, и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Г<енерал> С<трекалов>, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал изо стола голодный. Чорт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Р<аевского>. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верьхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но подъезжая к ним видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух всё еще был душен:

> Ночи знойные!
> Звезды чуждые!....

Луна сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса, и на дороге в Персию и Турцию, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; 10 между ими было несколько женщин. Они сидели верьхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные, зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию, и стал спускаться: по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неопи- 20 санным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился климат был уже другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился коё-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла 30 мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола впряженные в арбу подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?“ — спросил я их. — „Из Тегерана“. — „Что вы везете?“ — „*Грибоеда*“. — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом 40 его в Персию. Он был печален, и имел странные предчувствия.

Я было хотел его успокоить; он мне сказал: *Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux*. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку,— когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только Славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к Славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав Славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию; уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе, и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия: *Горе от Ума*, произвела неописанное действие и вдруг поставила его на ряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил.... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, не

ровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. . . .

В Гергерах встретил я Б<утурлина>, который как и я ехал в армию. Б<утурлин> путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперег дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. „Что нового в Эривани?“— спросил я его.—„В Эривани чума“,— отвечал он; „а что слыхать об Ахалцыке?“ — „В Ахалцыке чума“,— отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать, и шел всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки, и с башлыка напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избе-

жать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“— спросил я потягиваясь, и услышал в ответ: „это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения....

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревни, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек*, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание, и старался угадать его. Казалось он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью при-

нимал меня за иностранца. На встречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря, и объявил мне, что армия выступила уже из под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь, и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в 10 дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой кажется за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена и мне дали проводника.

20 Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс*! и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет, и отпра-30 вился к коменданту. Я стоял под дождем около полу-часа. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин, и переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и вет-40 хими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и

поцаловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне, и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верьхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина, и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича. 10

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенный на неприступной скале, я не по имал каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах, и вынул из кармана первый попавшийся 20 мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию, и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через пол-часа выехал я из Карса и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты; жители разбежались. Дорога была прекрасна, и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены 30 были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Р<аевского>.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с Сераскиром Арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал во время. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Р<аевского>, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским Драгунским полком, разговаривая с Р<аевским>, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего В<ольховского>, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел однако время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и М<ихаила> П<ущина>, раненого в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

> Heu! fugaces, Posthume, Posthume,
> Labuntur anni...

Я воротился к Р<аевскому> и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Р<аевский> послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: „Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят“. В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие, и стали на высотах Саган-лу в 10 верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

> ...nec Armeniis in oris,
> Amice Valgi, stat glacies iners
> Menses per omnes...

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Р<аевский> послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с С<емичевым> посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. „Много ли турков?“— спросил С<емичев>.—„Свиньем валит, ваше благородие“, отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20, и выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые доломаны и блестящий убор коней, составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмокнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4.000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами

и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем я видел наших раненых, из коих человек 5 умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена раненого в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но современем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. NB: во всё время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку, и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами: полковник Фридерикс имел дело с неприятелем засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-Паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18-го июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, всё в лагери пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная в которую сторону ехать

и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? подумал я, и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались дели-баши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал П<ущина> осмотреть овраг. П<ущин> поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около 6-го часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами, и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда <сводный> уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась

перед трупом молодого турка, лежавшим поперег дороги. Ему, казалось, было лет 18, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Р<аевский>. Он написал карандашем на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля, и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.

Вот всё, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит Сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-Паше с 30.000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сражение с Гаки-Пашею. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. „Êtes-vous fatigué de la journée d'hier?“ — „Mais un peu, Mr le Comte.“ — „J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes“.

Мы тронулись — и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши виден был как на ладоне. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагери их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Всё было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкой лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом В<ольховский> проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался на встречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала М<уравьева> с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла стоя на коленах читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря, и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою

рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его изнеможенного и истекающего кровию к кучке его товарищей. При них был полковник А<нреп>. Он курил дружелюбно из их трубок, не смотря на то, что были слухи о чуме будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15, нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться в волю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска преследовавшие неприятеля получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Р<аевский>, по просьбе моей, велел его привести. Я увидел высокого довольно толстого мужика, с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-Паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Араке, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост

называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы, явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник А<нреп>, хорошо не разобрав чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Р<аевском>у, что 3.000 турков находятся в горах. Р<аевский> отправился в след за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку, и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню, и увидели несколько отставших уланов, которые спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Р<аевскому>, что дело шло о 3.000 волах, три дня назад отогнанных турками, и которых весьма легко будет догнать дни через два. Р<аевский> приказал уланам прекратить преследование кур, и послал полковнику А<нрепу> повеление воротиться. Мы поехали обратно, и выбравшись из гор, прибыли под Гассан Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключем Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое, каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг почувствовал головокружение и тошноту, и едва имел силу выдти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и вероятно без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц, берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают

в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский Нарзан и отзываются медью.

25 июня, в день рождения [1] государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26-го июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом М‹уравьевым›. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. В след за ним, отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили Сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и Сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Ю‹зефовичем›. На оставленной батареи нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. — Граф был верьхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было вол-

[1] *В беловом автографе:* в день имянин

нение. — Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; „Voyez les Turcs“, — сказал он мне, „on ne peut jamais se fier à eux“. В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что Сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов, под предводительством Топчи-Паши овладели городскими батареями, и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: „Полно им дурачиться“. — Тотчас подвезли пушки, стали стрелять и неприятельская пальба мало по малу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня в годовщину полтавского сражения в 6 часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Р<аевский> поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: Християн! Християн!.. Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, не смотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество, — лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: Сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил кто я таков. П<ущин> дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: „Благословен час когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит на ровне с властелинами земли и ему поклоняются“.

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. — Я пошел взглянуть на Сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати,

в богатой, арнаутской одежде.—Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих. 10

Арзрум почитается главным городом в Азиятской Турции. В нем считалось до 100.000 жителей, но кажется число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: 20 азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари оставя голые стены и дубовые стулья своих замков увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры, и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство, и проч., но роскошь есть конечно принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы окружающие его по- 30 крыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит

жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих вероятно еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются бо́льшей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли... Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов,
10 в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованной пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят.
20 Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух.
В нем жены по кладбищам ходят,
30 На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят:
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; Сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. — Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря). Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным С<ухоруковым>; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец Сераскира представлял картину вечно оживленную: там где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушской паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов, и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению Сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат, мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по русски не говорит, или притворяется что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-Паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с Сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни

об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10.000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-Паши и приказал г. А<брамовичу> съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А<брамовича>. Мы отправились. Г. А<брамович> взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей ша́ха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-Паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи — взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-Паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А<брамович> сказал на отрез, что он послан к женам Османа-Паши, и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел всё это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование, и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему старику и всем служителям харема велит отрубить голову. — Прислужники, между коими не было ни одного эвнуха, подтвердили слова старика, но г. А<брамович> был неколебим. „Вы боитесь своего паши“, сказал он им, „а я — своего Сераскира и не смею ослушаться его приказаний“. — Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с <головы> до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А<брамович> прервал ее: „Это мать паши“, сказал он, „а я прислан к женам, приведите одну из них“; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту воз-

вратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам, и хвалила обхождение русских. Г. А<брамович> имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А<брамовичу>, но головки закивали, замигали, несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался; и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у дверей с г. А<брамовичем> была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец — Розою любви — по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. А<брамович> прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом, и возвратились, очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа. —

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню, и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими! — —

Возвращаясь во дворец узнал я от К<оновницына>, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноеных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого, и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как

пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного, и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была ничто иное как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшедствие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию..... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего Героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис, по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15.000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал, и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. — Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близь Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная балка также явилась мне во всем своем величии: овраг наполнившийся дождевыми водами превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Д<орохова> и П<ущина>. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У П<ущина>

на столе нашел я русские журналы. Первая статья мне попавшаяся была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее в слух. П<ущин> остановил меня, требуя чтоб я читал с бо́льшим мимическим искусством. Надобно знать что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней, и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование П<ущи>на показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ В АРЗРУМ.

<I.>

NOTICE SUR LA SECTE DES YÉZIDIS.

Entre les sectes nombreuses qui se sont élevées dans la Mésopotamie, parmi les Musulmans, après la mort de leur prophète, il n'en est aucune qui soit odieuse à toutes les autres autant que celle des Yézidis. Les Yézidis ont pris leur nom du scheikh Yézid, auteur de leur secte, et ennemi déclaré de la famille d'Ali. La doctrine dont ils font profession, est un mélange du manichéisme, du mahométisme et de la croyance des anciens Perses. Elle se conserve parmi eux par tradition, et est transmise de père en fils sans le secours d'aucun livre: car il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire. Ce défaut de livres est sans doute la cause, pour laquelle les historiens Mahométans ne parlent de cette secte qu'en passant, et pour désigner sous ce nom des gens abandonnés au blasphême, cruels, barbares, maudits de Dieu, et infidèles à la religion de leur prophète. Par une suite de cela on ne peut se procurer, relativement à la croyance des Yézidis, aucunes notions certaines, si ce n'est ce qu'on observe aujourd'hui même parmi eux.

Les Yézidis ont pour premier principe de s'assurer l'amitié du Diable, et de mettre l'épée à la main pour sa défense. Aussi s'abstiennent-ils non-seulement de le nommer, mais même de se servir de quelque expression dont la consonnance approche de celle de son nom. Par exemple un fleuve se nomme dans le langage ordinaire *schatt*, et comme ce mot a quelque léger rapport avec le mot *scheïtan*, nom du Diable, les Yézidis appellent un fleuve *avé mazen*, c'est-à-dire *grande eau*. De même encore les Turcs maudissent fréquemment le Diable, en se servant pour cela du mot *nal*, qui veut dire *malédiction;* les Yézidis évitent avec grand soin tous les mots qui ont quelque analogie avec celui-là. Ainsi au lieu du mot *nal* qui signifie aussi *fer de cheval*, ils disent *sol*, c'est-à-dire, *semelle de souliers d'un cheval*, et ils substituent le mot *solker*, qui veut dire *savetier*, au terme du langage ordinaire *nalbenda*, qui signifie *maréchal*. Quiconque fréquente les lieux qu'ils habitent, doit être très-attentif à ne point prononcer les mots *diable* et *maudit*, et surtout ceux-ci, *maudit soit le diable*; autrement il courrait grand risque d'être maltraité, ou même tué. Quand leurs affaires les attirent dans les villes Turques, on ne peut pas leur faire de plus grand affront que de maudire le diable devant eux, et si la personne qui a eu cette imprudence vient à être rencontrée en voyage par des Yézidis et reconnue, elle est en grand danger d'éprouver leur vengeance. Il est arrivé plus d'une fois que des hommes de cette secte ayant été arrêtés pour quelque crime par la justice Turque, et con-

damnét à mort, ont mieux aimé subir leur condamnation que d'user de la faculté qui leur était accordée, de s'y soustraire en maudissant le Diable.

Le Diable n'a point de nom dans le langage des Yézidis. Ils se servent tout au plus pour le désigner de cette périphrase, *scheikh mazen*, le grand chef. Ils admettent tous les prophètes et tous les saints révérés par les Chrétiens, et dont les monastères situés dans leurs environs portent les noms. Ils croient que tous ces saints personnages, lorsqu'ils vivaient sur la terre, ont été distingués des autres hommes plus ou moins, selon que le diable a résidé plus ou moins en eux: c'est surtout, suivant eux, dans Moïse, [Jésus-Christ] et Mahomet qu'il s'est le plus manifesté. En un mot, ils pensent que c'est Dieu qui ordonne, mais qu'il confie au pouvoir du Diable l'exécution de ses ordres. 10

Le matin, à peine le soleil commence-t-il à paraître, qu'ils se jettent à genoux les pieds nus, et que tournés vers cet astre, ils se mettent en adoration, le front contre terre. Pour faire cet acte de dévotion, ils se retirent à part, loin de la présence des hommes; ils font leur possible pour n'être point vus quand ils s'acquittent de ce devoir, dont ils se dispensent même suivant les circonstances. 20

Ils n'ont ni jeûnes, ni prières, et disent pour justifier l'omission de ces œuvres de religion, que le scheikh Yézid a satisfait pour tous ceux qui feront profession de sa doctrine jusqu'à la fin du monde, et qu'il en a reçu l'assurance positive dans ses révélations; c'est en conséquence de cela qu'il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire. Cependant tous les chefs des tribus et des gros villages soudoient un docteur mahometan pour lire et interpréter les lettres qui leur sont adressées par les seigneurs et les pachas Turcs, et pour y répondre. Relativement aux affaires qu'ils ont entre eux, ils ne se fient jamais à aucune personne d'une autre religion; ils envoient leurs ordres et font faire toutes leurs commissions de vive voix, par des hommes de leur secte. 30

N' ayant ni prières, ni jeûnes, ni sacrifices, ils n'ont aussi aucune fête. Ils tiennent cependant le 10 de la lune d'août une assemblée dans le voisinage du tombeau du scheikh Adi. Cette assemblée, à laquelle beaucoup des Yézidis se rendent de contrées éloignées, dure toute cette journée et la nuit suivante. Cinq ou six jours avant ou après celui où elle a lieu, les petites caravanes courent risque d'être attaquées dans les plaines de Moussol et du Kurdistan, par ces pèlerins qui voyagent toujours plusieurs ensemble, et il est rare qu'une année se passe sans que ce pélerinage donne lieu à quelque fâcheux événement. On dit qu'un grand nombre de femmes des Yézidis, à l'exception cependant des filles qui ne sont point encore mariées, se rendent des villages voisins à cette réunion, et que cette nuit-là, après avoir bien bu et mangé, l'on éteint toutes les lumières, et l'on ne parle plus jusqu aux approches de l'aurore, instant auquel tout le monde se retire. On peut se faire une idée de ce qui se passe dans ce silence et à la faveur des ténèbres. 40

Aucune espèce de nourriture n'est défendue aux Yézidis, excepté la laitue et la citrouille. Ils ne font jamais dans leurs maisons de pain de froment, mais seulement du pain d'orge; je ne sais point quelle en est la raison.

Ils emploient pour leurs serments les mêmes formules qui sont en usage parmi les Turcs, les Chrétiens et les Juifs; mais le serment le plus fort qu'ils fassent entre eux, est de jurer par l'*étendard de Yézid*, c'est-à-dire, par leur religion.

Ces sectaires ont un très grand respect pour les monastères chrétiens 10 qui sont dans leurs environs. Quand ils vont les visiter, ils ôtent leurs chaussures avant d'entrer dans l'enceinte, et marchant pieds nus, ils baisent la porte et les murs; ils croient par là s'assurer la protection du saint dont le couvent porte le nom. S'il leur arrive, pendant une maladie, de voir en rêve quelque monastère, ils ne sont pas plutôt guéris qu'ils vont le visiter, et y porter des offrandes d'encens, de cire, de miel, ou de quelque autre chose. Ils y demeurent environ un quart d'heure, et en baisent de nouveau les murailles avant de se retirer. Ils ne font aucune difficulté de baiser les mains du patriarche ou de l'évêque, qui est supérieur du monastére. Quant aux mosquées des 20 Turcs, ils s'abstiennent d'y entrer.

Les Yézidis reconnaissent pour chef de leur religion, le scheikh qui gouverne la tribu à laquelle est confiée la garde du tombeau du scheikh Adi, restaurateur de leur secte. Ce tombeau se trouve dans la juridiction du prince d'Amadia. Le chef de cette tribu doit toujours être pris parmi les descendants du scheikh Yézid: ils est confirmé dans sa place, sur la demande des Yézidis, et moyennant un présent de quelques bourses, par le prince d'Amadia. Le respect, que ces sectaires portent au chef de leur religion, est si grand, qu'ils s'estiment très-heureux quand ils peuvent obtenir une de ses vieilles chemises, pour 30 leur servir de linceul: ils croient que cela leur assure une place plus avantageuse dans l'autre monde. Quelques-uns donnent jusqu'à quarante piastres pour une semblable relique, et s'ils ne peuvent l'obtenir toute entière, ils se contentent d'en avoir une portion. Quelquefois le scheikh lui-même envoie une de ses chemises en présent. Les Yézidis font passer secrétement à ce chef suprême une portion de tous leurs brigandages, pour l'indemniser de dépenses que lui occasionne l'hospitalité qu'il exerce envers ceux de sa secte.

Le chef des Yézidis a toujours près de lui un autre personnage qu'ils appellent *kotchek*, et sans le conseil duquel il n'entreprend rien. 40 Celui-ci est regardé comme l'oracle du chef, parce qu'il a le privilège de recevoir immédiatement des révélations du Diable. Aussi quand un Yézidi hésite s'il doit entreprendre quelque affaire importante, il va trouver le *kotchek*, et lui demander un avis, qu'il n'obtient point néanmoins sans qu'il lui en coûte quelque argent. Avant de satisfaire à la consultation, le *kotchek* pour donner plus de poids à sa réponse, s'étend tout de son long par terre, et se couvrant il dort, ou fait semblant de dormir, après quoi il dit qu'il lui a été révélé pendant son sommeil telle ou telle décision: quelquefois il prend un délai de deux ou trois

nuits, pour donner sa réponse. L'exemple suivant fera voir, combien est grande la confiance que l'on a en ses révélations. Jusqu'à il y a environ quarante ans, les femmes des Yézidis portaient comme les femmes Arabes, afin d'épargner le savon, des chemises bleues teintes avec l'indigo. Un matin, lorsque l'on s'y attendait le monis, le *kotchek* alla trouver le chef de la secte, et lui déclara que pendant la nuit précédente il lui avait été révélé, que le bleu etait une couleur de mauvais augure et qui déplaisait au Diable. Il n'en fallut pas d'avantage pour que l'on envoyât sur le champ à toutes les tribus par des exprès, l'ordre de proscrire la couleur bleue, de se défaire de tous les vêtements qui étaient de cette couleur, et d'y substituer des habits blancs. Cet ordre fut exécuté aves une telle exactitude, que si aujourd'hui un Yézidi se trouvant logé chez un Turc ou chez un Chrétien, on lui donnait une couverture de lit bleue, il dormirait blutôt aves ses seuls vêtements, que de faire usage de cette couverture, fût ce même dans la saison la plus froide.

Il est défendu aux Yézidis d'ajuster leurs moustaches aves des ciseaux, ils doivent les laisser croître naturellement: aussi y en a-t-il parmi eux dont on aperçoit à peine la bouche.

Cette secte a aussi ses satraps, qui sont connus du côté d'Alep sous le nom de *fakiran*, et que le vulgaire appelle *karabasche*, parce qu'ils portent sur la tête un *bonnet noir* avec des bandelettes de même couleur. Leur mantean ou *aba*, est pareillement noir, mais leurs habits de dessus sont blancs. Ces gens-là sont en très petit nombre; partout où ils vont, on leur baise les mains, et on les reçoit comme des ministres de bénédiction, et des présages de bonne fortune. Quand on les appelle auprès d'un malade, ils lui imposent les mains sur le cou et sur les épaules et sont bien récompensés de leurs peines. S'ils sont mandés pour assurer à un mort le bonheur dans l'autre monde avant de vêtir le cadavre, ils le dressent sur ses pieds, et lui touchent légèrement le cou et les épaules; ensuite ils le frappent de la paume de la main droite, lui adressant en même temps ces mots en langue kourde, *ara béhescht*, c'est-à-dire *vas en paradis*. Ils sont chèrement payés pour cette cérémonie, et ne se contentent point d'une modique rétribution.

Les Yézidis croient que les âmes des morts vont dans un lieu de repos, où elles jouissent d'un degré de félicité plus ou moins grand, en proportion de leurs mérites; et qu'elles apparaissent quelquefois en songe à leurs parents et à leurs amis, pour leur donner avis de ce qu'elles désirent. Cette croyance leur est commune aves les Turcs. Ils sont persuadés aussi qu'au jour du jugement universel, ils s'introduiront dans le paradis, les armes à la main.

Les Yézidis sont partagés en plusieurs peuplades ou tribus, indépendantes les unes des autres. Le chef suprême de leur secte n'a d'autorité, pour le temporel, que sur la seule tribu: néanmoins, lorsque plusieurs tribus sont en différent les unes avec les autres, il est de son devoir d'employer sa médiation pour les concilier, et il est rare que les efforts qu'il fait pour cela ne soient pas couronnés d'un heureux succès. Quelques-unes de leurs tribus demeurent dans les domaines

du prince Gioulemerk, d'autres dans le territoire du prince de Gézirèh; il y en a qui font leur résidence dans les montagnes dependantes du gouvernement de Diarbékir, d'autres sont dans le ressort du prince d'Amadia. Du nombre de ces dernières est la plus noble de toutes les tribus, qui est connue sous le nom de *scheikhan*, et dont le scheikh, qu'ils appellent *mir*, c'est-à-dire *prince* est le chef suprême de la religion, et le gardien du tombeau du scheikh Adi. Les chefs de villages occupés par ceete tribu descendent tous d'une même famille, et pourraient se disputer la primatie, s'il survenait entre
10 eux quelque division. Cependant entre toutes leurs peuplades, la plus puissante et la plus redoutable est celle qui habite la montagne de Singiar, entre Moussol et le fleuve Khabour, et qui est divisée entre deux scheikhs, dont l'un commande à la partie du Levant, et autre à celle du Midi. La montagne du Singiar fertile en diverses sortes de fruits, est d'un accès très difficile, et la peuplade qui l'occupe met sur pied plus de six mille fusiliers, sans compter la cavalerie armée de lances. Il ne se passe guére d'année, que quelque grosse caravane ne soit dépoullée par cette tribu. Les Yézidis de cette montagne ont soutenu plusieurs guerres contre les pachas de Moussol et de Bagdad;
20 dans ces occasions, après qu'il y a eu beacoup de sang répandu de part et d'autre, le tout finit par s'arranger moyennant de l'argent. Ces Yézidis sont redoutés en tout lieu, à cause de leur cruauté: lorsqu'ils exercent leurs brigandages armés, ils ne se bornent pas à dépouiller les personnes qui tombent entre leurs mains, ils les tuent toutes sans exception; si dans le nombre il se trouve de *schérifs*, descendants de Mahomet, ou des docteurs musulmans, ils les font périr d'une manière plus barbare, et avec plus de plaisir, croyant acquérir par-là un plus grand mérite.

Le Grand-Seigneur tolère les Yésidis dans ses états, parce que,
30 suivant l'opinion des docteurs mahométans, l'on doit considérer comme fidèle et vrai croyant, tout homme qui fait profession des dogmes fondamentaux *il n'y a point d'autre Dieu que Dieu*, et *Mahomet est l'apôtre de Dieu*, quoique d'ailleurs il manque à tous les autres préceptes de la loi musulmane.

D'un autre côté les princes kurdes souffrent les Yézidis pour leur intérêt particulier: ils tâchent même d'attirer un plus grand nombre de tribus de cette nation, dans leurs domaines; car les Yézidis étant d'un courage à toute épreuve, bons soldats tant de pied que de cheval, et très-propres à faire un coup de main et à piller de nuit les cam-
40 pagnes et les villages, ces princes s'en servent avec beaucoup d'avantage, soit pour réduire celles des tribus mahométanes de leur ressort qui leur refusent l'obéissance, soit pour combattre les autres princes, quand ils sont en guerre avec eux. D'ailleurs les Mahométans sont dans la ferme persuasion que tout homme qui périt de la main d'un de ces sectaires, meurt martyr; aussi le prince d'Amadia a-t-il soin de tenir toujours auprès de lui un bourreau de cette nation, pour exécuter les sentences de mort contre les Turcs. Les Yézidis ont la même opinion relativement aux Turcs, et la chose est réciproque: si

un Turc tue un Yézidi, il fait une action très-agréable à Dieu, et si un Yézidi tue un Turc, il fait une œuvre trés-méritoire aux yeux du *grand scheikh*, c'est-à-dire du Diable. Lorsque le bourreau d'Amadia est demeuré quelques années au service du prince, il quitte son emploi, afin qu'un autre puisse, en lui succédant, acquérir le même mérite; et en quelque lieu que le bourreau, après avoir résigné cette charge, se présente chez les Yézidis, on le reçoit avec vénération, et on baise ses mains, sanctifiées par le sang des Turcs. Les Persans au contraire, et tous les Mahométans attachés à la secte d'Ali, ne souffrent point de Yézidis dans leurs états; bien plus, il est défendu parmi eux de laisser la vie à ces sectaires.

Il est permis aux Turcs, lorsqu'ils sont en guerre avec les Yézidis de faire esclaves leurs femmes et leurs enfants, et de les garder pour leur propre usage, ou de les vendre; les Yézidis n'ayant pas la même permission à l'égard de Turcs, font tout périr. Si un Yézidi veut se faire Turc, il suffit, pour toute profession de foi, qu'il maudisse le Diable, et ensuite qu'il apprenne à son aise à faire les prières à la manière des Turcs: car les Yézidis reçoivent la circoncision huit jours après leur naissance.

Tous les Yézidis parlent la langue kurde; il y en a parmi eux qui savent le turc ou l'arabe, parce qu'ils ont souvent occasion de fréquenter des personnes qui parlent l'une ou l'autre de ces langues, et à cause de l'avantage qu'ils trouvent à traiter leurs propres affaires avec plus de sûreté, en ne se servant point d'interprètes.

Sans doute les Yézidis ont bien d'autres erreurs ou superstitions, mais comme ils n'ont aucun livre, celles que j'ai exposées sont les seules dont j'aie pu me procurer la connaissance. D'ailleurs beaucoup de choses, chez eux, sont sujettes à changer, en conséquence des prétendues révélations de leur *kotchek*, ce qui augmente la difficulté de connaître à fond leur doctrine.

<II.>

МАРШРУТ
ОТ ТИФЛИСА ДО АРЗРУМА.

Телеты	14 верст	
Коды	11 - - - - -	
Больш.<ие> Шулаверы	27 - - - - -	
Пост Самисы	20 - - - - -	
Пост Акзебиук	19 1/2 - - -	
Укрепл.<ение> Джелал-Оглу	19 1/2 - -	
Гергерский пост	13 - - - - -	переезд чрез Безобдал
Кишлякский	16 - - - - -	

Амамлы . . . . 13 - - - - -
Бекант . . . . 15 - - - - -
Укрепл.<ение> Гумры . 27 - - - - -
Сел. <ение> Джамумлы. 28 - - - - -
Сел.<ение> Халив-Оглы $18^{1}/_{2}$ - - -
Карс . . . . 21 - - - - -
Сел.<ение> Котанлы . . 24 - - - - -
Раз.<валины> Чирихли 22 - - - - -
Речка Инжа-Су . . . . . 12 - - - - -
(где был лагерь наш с 14-го по 18-е Июня на вершине Саганлуга)

Речка Гункер-Су . . . . 13 - - - - -
- - - - - Загин-Су . . . . 16 - - - - -
Замок Зивин . . . . . . 12 - - - - -
Сел.<ение> Ардос . . . 24 - - - - -
Сел.<ение> Кеприкёв . . 26 - - - - -
(мост на Араксе)
Дер.<евня> Гассан-Кала $14^{1}/_{2}$ - - -
Арзрум . . . . 35 - - - - -

Другая дорога от Карса чрез Миллидюз до Кеприкёва

Сел.<ение> Котанлы . 24 версты
Ур.<очище> Дели-Муса-Пурун . . . . 30 - - - - -
Разв.<алины> Караван-Сарая на вершине Саганлугских гор. . 12 - - - - -
Ур.<очище> Милли-Дюз, где был лагерь Гакки-Паши . . . . 7 - - - - -
Замок Минджегерт . . 9 - - - - -
Р.<ечка> Чермик, при коей теплые железные воды . . . . . $10^{1}/_{2}$ - - -
Дер.<евня> Хоросан . 12 - - - - -
Дер.<евня> Кеприкёв . 25 - - - - -

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПЕРВОГО ПОЛУТОМА.

А. С. Пушкин. Бюст работы С. И. Гальберга, 1837 г. Фронтиспис.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ПОЛУТОМА

Первая книга VIII тома напечатана (неполным тиражом) в 1938 году.
Здесь текст книги воспроизведен по изданию 1938 года.

Переиздание осуществлено газетно-журнальным объединением «Воскресенье».

Ответственные за переиздание тома:
В.Н.Бакланов, А.В.Белова, А.В.Быстров, С.В.Богачев, И.И.Жуков, Н.И.Мастерова, В.В.Милюков, Г.В.Пряхин, Д.К.Соколова, Л.М.Ульянова, В.И. Филимонов, Е.В.Шпикалова.

Переплет, факсимильные оригиналы рукописей А.С.Пушкина подготовлены художником Н.Стольниковым.

Подписано к печати 7.06.1995 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. л. 43,4.
Тираж 25 000 экз. Заказ 4932.

Газетно-журнальное объединение «Воскресенье»
125805 ГСП-47 г. Москва, ул. «Правды», 24.
ЛР № 010193 от 19.02.1992
Телефон для справок (095) 257-31-06
Факс (095) 257-33-12

Отпечатано на Смоленском полиграфическом
комбинате Комитета Российской Федерации
по печати. 214020, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д. 1.